

Александр Левитов

Петербургский случай



Александр Иванович Левитов

Петербургский случай

(Очерк) [1]

I

Зимой еще можно кое-как жить в Петербурге, потому что безобразный гомон многотысячных столичных жизней отлично разбивается об эти тяжелые, двойные оконные рамы, завешенные толстыми сторами, заставленные массивными цветочными горшками изнутри и запущенные инеем снаружи.

Доносится только в комнаты по петербургским зимам какой-то злобно шипящий, неразборчивый гул, напоминающий собою тот яростный сап, который издают два врага, когда они после ожесточенной свалки валяются по земле и употребляют последние усилия, чтобы хорошенько попридушить друг друга...

За исключением этого шума, внутренние апартаменты Петербурга совершенно тихи, и если в них временами и разыгрываются какие-либо драмы, то содержанием этих драм бывает непременно мерзость, таящаяся внутри комнат, а никак не залетающая в них снаружи.

Не то бывает летом.

Самым ранним утром, когда, как говорится, черти на кулачки не бились, жизнь большого города уже в полном разгаре. Валят целые орды разносчиков, криками которых так и давятся эти маленькие, тесные, напоминающие собою гроба, дворики, свойственные одному Петербургу.

– Сиги морские! Сиги! – глухим и унылым басом голосит рыбник. – Сиг-ги мор-рские!

– Слат-ткай лукк молодой! – скорыми дискантовыми нотками вторит ему молодая бабенка, изгибаясь под тяжестью большой плетеной корзинки, нагруженной пучками лука.

– Та-ач-чить ннажи, ножницы! – резко поет мальчишка-точильщик, опираясь на свой станок с грацией, решительно превосходившей ту грацию, с которою в известной песне опирался на свою саблю гусар[2], глубоко огорченный предстоявшей ему разлукой с милой особой.

– Сиги... – снова затянул было рыбник, но его возглас окончательно заглушён был другим возгласом, звонко хлестнувшим по маленькому, колодезеобразному дворику:

– Э-э! Сиги! Я тебе дам этих самых сегов, – кричало одно окно в пятом этаже, показывая в то же время людям, способным быть разбуженными этими криками, как в нем светится толстое разозленное лицо кухарки, стоящей за хозяйские интересы. – Поди-ка, поди-ка сюда! Вздымись к нам на лестницу. Ты какую нам рыбу третьеводня продал? Вот он тебя, барин-то! Вздымись! Вздымись!

Рыбник, видимо, не предполагал такого приглашения. Несмотря на обременявший его голову лоток с морскими сигами, он стремительно повернул налево кругом, и желание его исчезнуть

за воротами большого дома было более чем очевидно.

– Иван! Иван! Держи рыбника. Барин его беспрерывно изнять велел, – кричит окно пятого этажа дворнику, старавшемуся навалить на свою спину страшную охапку дров. – Он рыбой вонючей торгует. Лови!

Иван живо и, очевидно, без малейшего сожаления сбрасывает с плеч своего вековечного утреннего друга – дрова и летит преследовать беглеца, с необыкновенным азартом приглашая к тому же всех встречавшихся по дороге любезных сограждан.

– Дер-ржи! Дер-ржи! Вот я тебя, расподлец! Вот мы тебя, раз-этакой! Раз-зутюжим! Раз-зуваж-жим!

Гулко раздалась эта погоня за бежавшим рыбником. К голосу дворника Ивана присоединились другие, яростные, но, видимо, не понимавшие, в чем дело, голоса. Как буря, сплошно и неразборчиво ревели все эти или, несмотря на раннее утро, совсем уже пьяные рожи, или такие, на которых недоверчиво посматривали городовые, вооруженные револьверами.

– Где? Где? Н-не-ет, брат, у нас так не водится... Где мазурик? Поймали? Сцапцарапали? Ох-х! Я, я бы ему типериччи спросонков-то... Ух-х! И клеванул бы его, дьявола, для праздника...

Из подвалов выбегали заспанные мастеровые с присущими известным специальностям орудиями; с верхних этажей слетали как бы окрыленные кухарки, лакеи и горничные, обгоняемые господскими собаками, обрадовавшимися случаю выбежать на двор и потолковать на своем собачьем языке с добрыми соседскими благоприятелями. Все эти субъекты, наталкиваясь друг на друга, суетливо менялись сведениями и соображениями вроде следующих:

– Что? Как! С ножиком приходил? К кому?

– Н-не-ет! Какое там с ножиком приходил? Это вон у табачника приказчик семь тысяч сдул.

На дворик выходило множество задних дверей, которые вели в различные магазины. Прислушиваясь к разнообразным разговорам, хозяева этих магазинов заботливо осматривали толстые дверные болты, потрогивали замки, между тем как собаки, выбежавшие на двор, совсем ополоумели от страстного желания уяснить себе историю, взволновавшую людей, чего они старались достигнуть неразумным скаканием и тщательным обнюхиванием каждого сколько-нибудь выдающегося булыжника, каждого сколько-нибудь потаенного уголка.

Наступает относительная тишь, разрываемая хохотом над ажитированными собаками, выкриками молодой бабенки насчет сладкого луку, протяжным пением грациозного мальчишки-точильщика и унылым речитативом, сообщавшим столичному люду, что в каком-то далеком захолустье «обвалимшись кумпал в приделе Николая-чудотворца».

По этому последнему случаю публика каким-то необыкновенным смиренным

дядей Власом [3] приглашалась пожертвовать на возобновление разрушенного купола от своих трудов праведных «хоша бы лепту какую».

– Динь! Динь! Динь! – серебристо позванивает колокольчиком

дядя Влас, грустно посматривая по верхам и сопровождая этот звон своим собственным козелковатым тенорком. – Р-радейте, православные! Потому как молонья обжогши церкву наскрозь... И была же при эфтом, господа хрисьяне любезные, чуда большая...

И как будто снова уснул на зорьке большой столичный дом, редко когда действительно засыпающий. Многим тревожно грезившим уже снилось, как где-то в какой-то необыкновенной дали, над каким-то селом, разразилась гневная, темно-синяя туча. С неба бежит такой стремительный дождь, который никогда не падал на петербургские мостовые, – молнии так и блещут над этими приниженными непогодой избами, – над этими полями, как будто испуганными разразившеюся над ними грозой.

Между тем толпа, убежавшая было по следам нечестивого рыбника, снова прилетела на двор и загудела еще громче и смешаннее.

– Нет! Это што ж? – уныло басил сцапанный наконец рыбник. – У тебя на это глаза есть, – продолжал он голосом, очевидно, просившим о помиловании. – Ты должна, примером, глядеть, что покупаешь. Тебе за это господа жалованье платят. К праздникам опять тебе подарки идут от господ-то. Нам ведь об этом довольно известно...

– Да ты, каналья, о пустяках-то не разговаривай! – отсоветовал рыбнику объясняться в нравящемся ему тоне какой-то барин в халате и туфлях. – Ты лучше вот что скажи: на сколько у тебя этой тухлятины моя кухарка купила?

– Да што ж? Известно, она у вас, сударь, жадная. Я ее, может, с коих пор знаю. Она всегда такая была... Уж на что скупа старуха майорша, которая вон в соседском доме живет, а и та кухарку-то вашу, сударь, прогнала от себя, потому она ее со всеми торговцами перекутила. С ими, сударь, на Сенной никто из всех торговцев одного слова разговаривать не хотел, не токма продавать...

– Не верьте, барин, не верьте! – протестовала кухарка против этого обвинения. – Эфто он к вам с подвохом... Штобы, то есть, как-нибудь меня против вас в сумление ввесть.

– А так, барин, весь мой совет вам, – вмешался кто-то из окруживших лоток рыбника с своим замечанием, – отпустить его – этого самого бездельника. Насовать ему морду-то рыбой и отпустить, потому что с им иначе ничего не поделаешь! Не токма рыба у него дохлая, а и сам-то дохлый совсем... Вы сами видите, потому будь он ежели не дохлый-то, рази бы он попался?.. Право, насыйте, – и с господом, чем канитель-то тянуть...

Рыбы, выглядывавшие из лотка своими тусклыми глазами, очевидно, не разделяли подобного мнения. В глубоком недоумении они посматривали на окружавшую их публику и как будто говорили:

«Что же это такое? Разве нас для того привезли сюда, чтобы нами по мордам тыкать? Н-не-ет! Ты нас, брат, ешь! Вот что!»

Барин в халате тоже не послушал советчика, разрешавшего сначала понатыкать рыбника в морду, а потом отпустить его. Поигрывая кисточками халатного пояса, он распорядился послать за околоточным, с которым тут же, на дворе, и составили протокол о торговле попорченной рыбой, производимой крестьянином Фомой Веденевым в ущерб здоровья столичных жителей, который Фома Веденев в сем промысле и был уличен титулярным советником Ангелем и кухаркой оною Аграфеной Зотовой, жительствующими и т. д. и т. д.

Смотря на процесс составления протокола, торгующий попорченной рыбой Веденев глубоко конфузился, что он с достаточным успехом выражал неопределенным пучением глаз на какие-то, кроме его, никому не видимые предметы и такого рода непонятным бормотаньем:

– Ну штош! Эва! Ну и прописывай! Нне-ет! Но-оне, брат, обглядишь перва-наперва прописывать-то. Так-тось!.. Ныне, брат, не всяко лыко в строку пиши...

Длинная фигура Фомы стояла на дворе такой одинокою, такую печальною, что еще

незнакомые с его историей люди останавливались и жалобно друг у друга спрашивали:

– Это что же детинка-то здесь стоит?

– Судють!.. Четырнадцать тысяч у купца – у немца – украл. Артельщиком был у его – и украл. Сказывают: теперь пареньку-то капут, потому он в азартности в своей весь рот немцу-то паполы разорвал. Ну, теперь вот напишут бумагу, и к мировому. По-старому: его бы надо было прямо в острог; но по-нонишнему: без мирового ничего поделатъ нельзя...

Глуше и глуше становилась домовая буря. Все дальше куда-то улетала она, сердито, но сдержанно ропща и негодуя на что-то. Наконец двое городских совсем умилили ее тем, что сначала предложили кое-кому из особенно разевавшихся очистить дворик, а потом уже и сами ушли вместе с длинным рыбником, поддерживая его под обе мышки, чем, вероятно, они хотели выразить ему свое глубокое сочувствие к постигшему его бедствию.

– Ну что хорошего! – наставительно басили городские рыбнику. – Ну вот, что тут хорошего: рыбой это он вонючей торгует, господ обижает. Вот теперь на свидетельство... К самому господину мировому судье... Ах-х! И строги же они насчет вас, господа торговцы...

– Ну и што ж? Ну и што ж? – с полной и бессознательной апатией шептал рыбник. – Ну и веди! Веди! Нне-ет, брат, я знаю... Нич-чево!.. Мы, брат, тоже сами... Нас, брат...

Кроме этого бурленья ничего не тревожит спящих в большом доме, за исключением разве попки, принадлежавшего одной очень красивой девице, который, в качестве птицы проснувшись очень рано, то злобно кричал, что «попка дурак, попка подлец», то с какою-то болезненной нежностью жаловался кому-то, что у попиньки головка болит – «бол-лен попка, умр-рет попка!..»

– М-маш-ша! – отчеканивал попугай на весь двор. – М-ма-ша! Умр-ру! Дай попиньке папир-ро-с! Дай попинь-ке сахарцу!

Солнце, несогласное с мыслями попиньки относительно возможности такой смерти, восходило между тем все выше и выше. И восходом своим оно будило других, иначе живущих людей и вызывало другие голоса и другие жизненные процессы.

– Детей бы уж теперь время гулять вести, – говорят седые сердитые бакенбарды, шаркая по паркету свистящими туфлями.

– Я сейчас сама пойду с ними, – отвечает виднеющаяся в окне русая головка, к затылку которой был привешен громадный и неимоверно кокетливый шиньон. – Вот только выпью кофе, оденусь и пойду.

– Да можно бы и с Агафьей послать, – гневно шаркают сердитые туфли. – Кажется, это было бы все равно.

– Для вас все равно, а для меня нет! – отвечает русая головка, напряженно стараясь не выпустить из злобно и энергично сжатых губ более колкого ответа.

Растворенные окна другой квартиры позволяют знать, что в настоящую минуту уже десять часов утра, потому что у фортепиано стоит какой-то молодой человек во фраке, необыкновенно гладко причесанный, в перчатках, подле него девушка, улыбающееся лицо которой ясно показывает, что она долго и страстно ждала кого-то... Оба они садятся за фортепиано, и начинаются гаммы – эти столь мучительные для соседей гаммы, продолжающиеся целый полуторарублевый час.

Всякий видит и слышит из своего окна, как фортепиано мерно звучит:

– Тра-ра-ра! Тра-ра-ра!

Всякий видит и слышит, как учитель говорит, касаясь тонких и беленьких пальчиков:

– Не так! Не так! Это неверно! Это нужно брать вот как... – И затем учитель устанавливает на клавишах тонкие беленькие пальчики, ударяет ими по поющей слоновой кости и говорит: «раз, два, три»; а потом он уже без всякого счета принимается целовать неумелую ручку; а владельница этой ручки смотрит на него с такой ласковой, с такой нежной улыбкой...

И все это видно в открытое окно, чего зимой, разумеется, не увидишь.

А попка продолжает кричать:

– Дур-рак попка! У попиньки головка болит... Попинька сахару хочет... М-ма-аша! Дай попиньке сахарку...

Всеми разнообразно жизненными тонами, которыми люди выражают и горе и радости, кричит маленький дворик большого столичного дома. Больше и больше разрастается светлое сияние весеннего дня, вместе с которым все больше и больше разрастается жизненное движение, пригретое им.

Оркестр странствующих музыкантов, которые, невзирая на свои отрепанные сюртуки и избитые в ближайшем погребке лица, стараются изобразить из себя

артистов, меланхолично закатывает:

«Ты умерла, ты умерла».

Дурачки визгливо растолковывают

артисты про какую-то умершую, видимо, ничуть не умея своими, отчасти от голода, отчасти от пьянства трясущимися руками воспроизводить мысли тех людей, которые имеют способность ловить своими руками неуловимо-зигзагические реяния звуков, слышимых в природе, и составлять из них стройные хоры, в высокой степени улаживающие людские сердца, даже и тогда, когда хоры эти поют про бесконечную жизненную горечь...

Глухо падают на мостовую дворика пятаки, имеющие вознаградить труд музыкантов...

Страшный жар разлился по нашему дворику, и солнечные лучи, отражаясь на его высоких белых стенах, так и слепили глаза. В окнах постоянно вырисовывались красные, пытящие физиономии, обмахивавшиеся белыми платками.

– Ну, жара! – говорили эти физиономии. – И откуда только эта пыль лезет? Ах! дождичка бы теперь господь послал пыль бы эту прибить.

И действительно, с чисто-начисто выметенного дворика вместе с лучевыми столбами врывалась в комнаты какая-то седая, едкая пыль, которая толстыми слоями ложилась на оконные цветы, на мебель, залезала в уши и рты и, наконец, тем досаднее и гуще распудривала лица, чем чаще и старательнее ее смывали с них.

Под влиянием этого жара приуныла как будто даже неугомонная жизнь дома. Девицын попугай уже не ругался и не жаловался, а только изредка побряхтывал что-то неразборчивое, страдальчески раскрывая свой изогнутый клюв, из которого виднелся красный дрожащий язычок.

Многое множество людей торопливо проходило по дворику, стараясь поскорее укрыться от жара в холодке своих апартаментов. Ничуть не обращая на себя внимания проходящих лиц,

на дворике торчит только совершенно одинокою группа, состоящая из долговязого слепого человека в синем мещанском сюртуке, в опорках, показывавших красные ноги с синими, напряженными жилами, и маленького босого мальчика в серой свитенке, который, видимо, был руководителем слепца в его странствованиях по извилистым и шумным стогнам Петербурга.

– Дяденька! Играй песню шибче! – по временам шептал мальчишка, потрогивая слепого за сюртук и устремляя на него свое весноватое тупое лицо. – Барыня вон на нас из окошечка поглядывает. Забирай покрепше! Чево ты боисси? Вишь, вон все на тебя как грохочут... Страсть как!..

При этом внушении слепой молодцевато встряхивал своей нечесаной головою, от чего рваный ваточный картуз его ухарски завалился набок. Взбрасывал тогда слепец к небу свои тусклые, безжизненные глаза, обводил в воздухе широкую звенящую дугу увешанным гремучими позвонками бубном и отчаянно-болезненным голосом принимался выкрикивать развеселую:

Вдоль да по речке,

Ах, вдоль да по Казанке,

Серый селезень плывет.

Мальчишка, в свою очередь, всем своим гнусавым контральто старался показать публике и речку Казанку, и плывшего по ней серого селезня; но должно быть, что ни пареньку по его малолетству, ни патрону его по случаю слепоты ни разу не удавалось видеть ни одного действующего лица из распеваемой ими истории, а потому певчие, в качестве недостаточно ясных историков, всем двориком единодушно были засыпаны вместо трешников самыми ядовитыми насмешками.

– Дядюшка! Побегем, золотой! – посоветовал наконец слепому его малолетний вожатый. – Вот какая-то куфарка в нас с тобой горшком понацеливает.

– А, калеки убогие, разнесчастные! – в действительности морализировала куфарка, седая такая, толсто-серьезная, в белом чепце. – Нет чтобы, калеки, вам об убожестве-то об своем к господу богу припасть... Танцую вздумали представлять... Подожди... В такие времена – и ты, слепень ты эдакой, раскуражился как? А? Скажите, люди добрые, што он, в уме ли? Да еще и малого ребенка в грех ввел...

Раздался звон разбитой посуды, черепки которой, словно осколки разорвавшейся бомбы, полетели в певцов.

Общественное мнение дворика, ввиду обрушившегося над слепцом факта, разделилось на две категории: один, гладко выбритый, солидный господин, сидевший в окне, осененном белоснежными драпри, внушительно вдалбливал кому-то:

– Я давно говорю, топ срег[4], всех бы

их на ответственность сельских обществ. Ка-ак же? Подавал проект. Говорю: освободите нас от этих бродяг. Примерно: взял

его и сейчас по этапу в общество. Оно должно уже уплачивать пересылочные предметы за своего несостоятельного члена. Нормально? Иначе: не пускай или, отпустивши, ручайся всем

миром... Нор-рмально?..

– Без сомнения, ваше-ство! – ответил изнутри комнаты какой-то заискивающий шипящий голос, весьма, должно быть, похожий на то шипенье змея-искусителя, с которым он подкатывался к нашей общей прародительнице.

– Но поймите, – продолжал прожектер. – Что за времена? Не приняли – и вот теперь сиди и слушай всякую чушь. Понимаете: я плачу – я хочу быть спокоен. Говорят: подати там, заработки какие-то? Я плачу больше

их. С меня, понимаете, косвенные налоги всякие, – я оплачиваю их, никуда не шатаюсь, не клянчу, нервы дурацкими песнями никому не расстраиваю...

– Без сомнения, ваш... – снова раздалось змеиное шипенье.

– Это что тут за моралистка такая появилась? – забасил кто-то невидимый из какой-то неопределенной выси, словно бы с облаков. – Эй ты, сволочь! – кричал невидимый, очевидно, впрочем, адресуя свое воззвание к куфарке, старавшейся обратить слепцов к более благой деятельности посредством разбития об их головы ненужного в хозяйстве горшка. – Ты как смеешь, анафема, горшки на двор бросать? Да еще в людей? Вот я тебя к мировому стащу.

– В самом деле, – отозвался на это кто-то другой. – Што ты, Афросинья, над всем домом свою власть показываешь – думаешь, при генеральше служишь, так на тебя и управы нет никакой? Эка ухитрило ее: в слепенького старичка – бац горшком!..

– Вас не спросилась, голь чиненая? – отрезала властительная Афросинья. – Вот еще барыне доложу, чтобы они приказали управляющему вон вас отсюда турить. А то вы тут только черный народ смущаете...

– Утерла носы-то ловко! – слышалось из подвалов. – Не посмотрела, что адвокаты. Онамедни самого господина мирового так-то отчитывала. Они видят: баба-дура, сейчас же от ей штрафами отходить принялись. Она им слово, а они на ее штраф, она заплотит и опять в свои глупости пустится, а они ее опять на штраф, словно бы как лихого кобеля на цепь. Смеху что было... Потом уж в такой доклад к бабе вошли: «Ну теперь, сударыня, ежели вы в случае опять что насчет, то есть, ваших глупостей, так не угодно ли, к примеру, в тюремное заключение...» Ну, тут она заревела – и в ноги... Больше потому в ей этот форс, што генеральша ее очень любит: день и ночь с ней все по божеству, все по божеству... К генеральше-то такие-то ли приезжают... Все из этих...

– Слышите вон, – заговорил снова гладко выбритый барин, – как

они своих заступников аттестуют? Хи, хи, хи! Нет, тут заступничеству-то места нет. А тут вы его рубликом, рубликом-то и проберете... И

его, как

они говорят,

общество-то это самое, рублишком и припугните... Хи, хи, хи! Вот тогда у нас пролетариата-то этого и не будет. И толковать, следовательно, будет не о чем. А то каким-то четвертым сословием страх даже успели нагнать. А тут ларчик-то просто открывается... Хи, хи, хи!

– Хи, хи, хи! – подсмеивалась змейка. – Рублевым ключиком, ваше-ство!.. Хи, хи, хи!

Порывом внезапно налетевшей бури сорвало с уходившего слепца его ухарский картуз.

Оторопелый, стоял старик посреди двора, между тем как мальчишка вместе с вихрем крутился по дворику, стараясь поймать дяденькину фуражку. Его белые волосенки трепались по ветру, словно бы те молодые пичуги, которые, сидя на гнезде, бесплодно трепыхают крыльями, совершенно еще неспособными к тому, чтобы унести своих юных обладателей вслед за их высоко взвившимися родителями.

Полил сильный дождь вместе с какою-то снежною слякотью, от которой музыканты попробовали схорониться под крылечным навесом.

– Нет, уж это, брат, наше вам почтение! – отнесся дворник к слепцу. – Пошел, пошел отсюда, проваливай! Вы вот тут фатеры-то повысмотрите, а ночью с приятелем на чердачок. Нет ли, мол, на чердачке-то бельяца какого? Ха, ха, ха! Знаем мы вас!

– Нет, брат, он вас, слепых, разузнал довольно хорошо, – кричала с грохотом мастеровая братия, высывая на холодок из подвальных окон, залитых пламенем горнов, свои потные лица. – Гони, друг, их! Слижут что-нибудь, скажут на нашего брата – мастерового человека.

– Резонно! – пробурчал кто-то, громыхая форткой. – Нет, тут и без нищих-то тесно пришлось, возьми хоть да живой в землю и закапывайся...

– Скоты! Подлецы! – слышалось из неведомой выси.

– Боже! Боже ты мой! – с естественным во всех слепцах трагизмом проговорил старик. – Пойдем, сынок! Веди, голубь!

– Веди его, белоголовый! – заорал подвал... – Ему тут поблизости... Ха! ха! ха!

– Ах, черт! Недалечко, говоришь, старику-то?

– Недалечко-с! У ихней тут у полюбовницы в нидальних местах усадьба стоит-с. Лыком шита, небом крыта, колышком подперта. Ха, ха, ха!

– Ха, ха, ха! Ах ты, идол эдакой! Завсегда какой-нибудь стих отмолотит...

– А что это, братцы, вдруг этто, то ись, была все жара, жара, и тоже вдруг снежку царь небесный послал. В наших сторонах этого не в примету. Знаменье это, что ли, какое? – задумчиво осведомлялся кто-то у кого-то.

– Эх, голова! – отвечали на задумчивый вопрос. – Какое там знаменье? Просто, братец, я тебе прямо скажу: это ладоцким льдом по Неве тронуло.

– Ладоцкий лед! – послышалась глубокая ирония над высказанным объяснением. – По-нашему: эфто к дубу...

– К дубу?

– Так точно! Взяли ль в ум?

– Задал задачу! Ха, ха, ха!

– Как же это, то ись, к дубу-с, – позвольте узнать-с?

– Ну уж это сами раскусывайте.

– А так мы это раскусываем, што вы самый необразованный человек. Говорить с вами не стоит вниманья.

– Ваш ответ не в текст.

– Напротив! Очень даже мы понимаем ваши глупости...

Произошла общая, громкоголосная галда, из которой только и было слышно:

– Нет, брат, руки коротки!

– Дух вон вышибу!

– Братцы! Бойтесь бога... Усмиритесь вы, ради создателя...

– Не-ет! По нонишним временам, ежели ты так-то своим умом-то будешь шириться... Ум да ум у меня... Подожди! Мы тебя посократим...

– Это ты все с своим умом-то; а я к тебе, напротив, с политикой подошедчи; но ты же, свинья, что со мной сделал? Вместо приятного разговора вон куда маханул...

– Встряживай, встряживай его! Нечего разглядывать-то, не узорчатый... Махай!..

– Эй вы, сволочь! Загорланили! Лишних два часа проморяю на работе, – покрыл всю эту свалку грозный командный баритон, звучавший немецким акцентом.

Баталия смолкла, и после нее на петербургском дворике остался только клочок пасмурно-свинцового неба, которое безустанно обсеивало его какую-то полумерзлой, полуталой слякотью, да дворники, сопровождавшие свои старания смести эту слякоть энергическими поплевываниями на свои руки и ругательствами вроде следующих:

– Нет! Надо полагать, ее отсюда – слякоть-то эту гнилую – один черт выметет!.. Откуда только берегся? Шабаш, братцы! Гайда в портерную... Черт ее возьми и с чистотой-то совсем... Кажется бы, на зфдакую мразь и глазам-то обидно глядеть...

II

Ни один из этих петербургских жизненных воплей не мог пробраться в квартиру Ивана Николаевича Померанцева, служившего в одном из присутственных мест столицы. Черная клеенка, которой с наружной стороны была обита дверь Померанцевой квартиры, смотрела на посетителей каким-то мрачным и бесприветным взглядом, как будто говорившим: «Напрасно ты, брат, к нам притащился! Нам и без тебя хорошо!» Колокольчик звякал сердито и хрипло, что весьма походило на ворчанье старого лакея – барского любимца, который, в видах охранения господских интересов, огрызается на всякое, даже самое ласковое слово, сказанное ему посторонними лицами. Оконные рамы никогда не выставлялись, и самые окна, вплотную завешенные белыми сторами, если на них смотрели со двора, представляли собою удивительное сходство с тою не то сердитою, не то страдальческой безжизненностью, которая обыкновенно бывает разлита по лицам слепорожденных.

Впечатление, которое производит на людей Иван Николаевич собственной особой, было не лучше впечатления, производимого его квартирой. Вообще он имел угловатые, так называемые медвежьи манеры, сутулую спину, угрюмое, обросшее страшной растительностью лицо и черные глаза, с постоянным и крайним недовольством устремленные в землю.

Разговаривать с добрыми приятелями Иван Николаевич был тоже не особенный охотник. Рассматривая по своему обыкновению персть земную, он на все вопросы отсыпал лаконически: «да! нет! отвяжитесь!»

– Душечка! Померанчик! – подтрунивали над ним его департаментские сослуживцы. – Подари словечком, – я тебя за это в сахарные уста поцелую. Улыбнись, дитяtko, покажи зубки. Ну же, показывай – не упрямясь! Агу, голубчик, агунюшки!

– Полно вам потешать вашу дурость, – отрезывал Иван Николаевич. – Советую вам скрыть ее поскорее вот в эти бумаги, а то она слишком глаза мозолит порядочным людям. Право, так-то выгоднее будет для вашей неопытной юности.

– Припомните ваши слова, господин Померанцев, – стушевывался насмешник. – С вами по-товарищески пошутить хотели, а вы...

– Отвяжитесь! Я вам вовсе не товарищ, – не повышая и не понижая своего сердитого тягучего голоса, заканчивал Померанцев, и почему-то всегда выходило так, что после этого голоса во всем столе надолго воцарялись те минуты безмолвия и даже как будто какой-то конфузливости, про которые люди говорят, что во время их пролетают тихие ангелы.

Только после долгого времени в какой-нибудь курительной комнате или в уединенном архиве возобновлялись прерванные подобными минутами разговоры:

– Чего это ты, братец, спустил этому скоту – Померанцеву? Как он тебя за простую шутку отделал? Струсил... Да я бы его на твоём месте...

– Да ну его ко всем чертям! Стану я со всяким дикарем связываться. Это дикарь какой-то, а не товарищ. Ни сам никуда не ходит, ни к себе не зовет. Слова по году не дождешься. Подсолить вот ему следует, чтобы он к медведям служить-то из департамента убирался...

Многоразличный пролетариат, присущий каждому петербургскому дому, в виде дворников и поддворников, приказчиков в мелочных лавочках и их подручных, часовых, стоящих около дома, и их подчасков, старых прачек, отбирающих у давальцев белье, и их молодых помощниц, зараженных неизлечимой страстью часто шататься по одиноким людям с многообещающими улыбками и с вопросами относительно того, «как сударю угодно будет, чтобы груди пущены были – плойкой или в аглицкий трахмал», – весь этот люд, говорю, злился на Ивана Николаевича гораздо более, чем злились на него его департаментские друзья.

К Ивану Николаевичу является рассыльный из квартала и, переминаясь у притолоки, докладывает:

– К вашему вашескобродию! Одиннадцатого сего месяца пожалуйста к господину надзирателю, – приказали просить.

– Зачем? – спрашивает Иван Николаевич, не глядя на докладчика.

– А по делу, ваше вашескобродие, живущей с вами по суседству солдатской вдовы – девки Христины Петровой с господином корнетом Сеноваловым.

– Я ничего не знаю.

– Па-аммилуйте, ваше васкобродие! – воодушевлялся солдатик. – Аны, то есть господин корнет, пришедши, например, ночным временем в Христинину спальню, изволили избить там палашом какого-то француза. Ах! фамилию-то я забыл ейойную, – дай бог памяти! Но только этот француз сам титулярный советник. Господину корнету так поступать не подобало, потому от эфтого от самого шум вышел – это что же всамделе будет такое? Ведь эфто хоть до кого...

– Ну, мне, друг, до этого дела нет.

– Но как нам, вашескобродие, приказ отдан, штобы, то есть, весь дом поголовно... Как же-с! Дознание будет-с... Без эфтого тоже ведь и господам начальникам невозможно-с...

– Некогда мне, братец! Отправляйся-ка с богом; а надзирателю я напишу.

– Счастливо оставаться! – откланивался солдат и, вышедши на лестницу, бормотал: – Вот сволочь-то, а еще барин! Хошь пяточок бы когда, хошь бы рюмку какую для смеху... Прямой пымаранец!

Рои дворников, жужжавшие по высокаторжественным дням свои «проздравления с праздничком, свои желания добрым господам доброго здоровья и всякого благополучия», – рои, сладко заливающиеся на тему

на чаек бы с вашей милости-с, без малейшего внимания к их сладкогласности, были распугиваемы сердитой физиономией Ивана Николаевича и его басистою, отрывистою речью.

– Сколько раз я просил вас, господин старший дворник, – говорил Померанцев, – чтобы вы ко мне ходили не иначе, как первого числа за получением квартирных денег. Вот я перееду из вашего дома и скажу хозяину, что мне от вас покою никакого не было. Ведь вам за это нехорошо будет.

– Ах, ваше высокоблагородие! – защищался дворник с такой умильной улыбкой, которая совершенно обнажала его белые зубы с застрявшей в них вчерашней говядиной. – Ведь какие ноне дни-то-с, – сами изволите знать-с. Другие жильцы насупротив того, сударь... Возьмем теперича из купечества какие, так даже в большую амбицию входят, ежели, так будем говорить, от нашего брата проздравления не получают.

– Ну, я не обижусь. Я обижаюсь на то, когда меня без толку беспокоят.

– Просим прощенья, сударь! Не посетуйте, что, к примеру...

– До свиданья! До свиданья!

– Ах, бес! Ах, леший! – допевал хор свою песню уже на лестнице. – И для такого праздника... А? Ах! И искушенье нам только с этим дьяволом, – сичас умереть! Весь дом от его в смуту вошел...

Пятнадцатилетняя прачка Дуняша, над щеками которой, горевшими здоровьем и юностью, так любовно грохотала вся мастеровая и немастеровая молодежь целого дома, была поставлена в крайний тупик тою штукой, которую, по ее словам,

удрал с нею энтот приказный –

повытчик-то...

– Визу я, милые мои, – картавя, как ребенок, и мило похлопывая пухлыми губками, рассказывала однажды Дуняша про эту штуку многочисленной публике, собравшейся под воротами, – визу я, сто он ходит скусный такой, один завсегда, и думаю: сто, мол, у всех у господ я бываю, со всеми знакома, – дай, мол, и к нему схозу, посмотрю, сто за человек такой, – и посла сдулу-то. Схватила платки его, какие у насей хозяйки в мытье были, – и плисла. Плисла и спласываю: почем вы, судаль, эти платки покупали?

– А он – лицемел эдакой – и говолит мне, – продолжала Дуняша, меняя в этом месте рассказа свой шепелявый, щебечущий голосок на грозный бас: – «А вам какое дело до этого, – закличал он на меня. – Как вам, говолит, не стыдно, такой молоденькой девочке, хвосты по всему дому тлепать? Ко мне не тлепите, а то к хозяйке сведу...» Ха, ха, ха! Вот билик-то!

– Истинно, бирюк, – подхохатывала Дуняше приворотная компания. – Заместо того, чтобы с молодой барышней

обойдтитца учливо, штобы, примером, в эфтаких-то статьях как кавалеру поступать подобает? Нет у тебя кофею, угощай чаем али другим каким ни на есть гостинцем...

– Ну это, брат, по человеку глядя, – перебил кто-то, вероятно, более знакомый с условиями, по которым как и кого принимать должно, – это, друг, тоже в эфтих разгах и на года смотреть надоть...

– А я к чему? К ему – к подлецу – не какая-нибудь пришла, а девица в соку... Нет, брат, мы знаем... Тут не полштоф... Напротив тово, должен тут гостинец стоять, может, на всех столах. Так-то-ся! А он – подлец – пымаранец эдакой, – право, пымаранец, – эва куда морду-то загнул!..

Дуняша с громким хохотом лебезила уже перед другой группой.

– Ха, ха, ха! – заливалась она своим ребячьим смехом. – Я так-то смотлю на него и визу, сто он совсем полоумный... Как есть бесеный... Ха, ха, ха!

– Да из каких он у вас, черт проклятый?..

– Барышня! Орешков-с?..

– Слышно, быдто он, окаянный... по чернокнижию, што ли, какому...

– Поколно благдалю-с... Каленые? Смотлю, смотлю – визу: как есть полесымсись ума... Ха, ха, ха!

– Эва загнул! По чернокнижию...

– Сказывали... Нам што?..

– Нет! Ежели по-настоящему-то скажем, – вмешался в беседу какой-то лохматый старик с огромною седой бородою, нижняя половина которой была обрызгана зеленою краской, – выдет он тогда, ежели дело будем говорить, вон из каких...

Сказавши это, старик кивнул своей измятой шляпенкой по направлению к Варшавскому вокзалу – и ушел, продолжая покивывать на этот подозреваемый в чем-то пункт уже затылком своей шляпенки.

– Эге! ге! ге! – раздалась вслед за стариком многозначачие междометия. – Тэк! Тэк! Тэк!.. Надо про эфто дело... Так! Так! Так!.. Нужно про эту историю-то... Нет! Эфто, брат, надоть куда следовать.

– Ха, ха, ха! Нет, сто же? Я плисла... Глязу, глязу: как есть ведьма какая!.. В глазах полоумство... Ха, ха, ха!

– Барышня! Послшс...с...с... – секретно шептал кто-то из расходившегося компанства, стараясь сделать так, чтобы шепот тот кто-нибудь не услышал.

Таким образом, никто ни ногой в квартиру Ивана Николаевича. Кухарка и парни, нанимаемые им для необходимой прислуги, обыкновенно приходили к нему через какую-нибудь неделю и с крайне обиженным выражением в нахмуренных лицах говорили:

– Пожалуйте, судырь, нам расчет.

– Что? – спрашивает изумленный сударь. – Зачем же расчет? Разве у меня работы много или

пища плоха?

– Нет, судырь! Про это что говорить? Еды вволю. А только не приходится нам...

– Отчего не приходится?

– Да так! То есть, быдто, сударь, тятенька нам из деревни отписамши, што, дескать, быть тебе – сыну моему – на старости лет при мне... Для прокорму, надо полагать, ихнего зандобился.

– С богом, ежели так...

Вскороги после такого разговора какой-нибудь Иван стоял уже с своим скудным скарбом под воротами и оживленно рассказывал компанству, что такого идола, как оставленный барин, пройди весь божий свет, не найдешь.

– А-а, брат! – радовалось компанство. – Ведь мы сначала тебе еще говорили: не ходи! Что, друг, напоролся? Ха, ха, ха! Вон он у нас какой помаранчик-то! Пропек небойсь на порядках.

– Пр-ризнаюсь! – соглашался Иван с радостью человека, похищенного дружеской рукой из страшной бездны. – То есть такого изверга, такого Иуды-христопродавца... н-ну, брацы! Придет себе из присутствия из своего и, ровно ополумелый какой, так и сидит. Ни ты к нему с разговором, ни ты што... И сам тоже, глядя на него, сидишь в кухне без языка словно. А он, скорфиёнище, механику тебе какую-нибудь ввернет – и ведь все это у него с лаской такую выходит: ты бы, говорит, Иван, погулять пошел. Небойсь знакомые есть. Распалишься тогда на него еще пуще... Д-ды, ч-черрт ты эдакой, думаешь про себя. Д-да, дьявалл!.. Ну, братцы, вот она морда-то где антихристовая!..

– Верно! Верно, друг! Говорили тебе с первого маху... Га-вар-рили!.. По дружбе услуживали...

– Н-ну, слава богу! Теперича хошь по крайности... Просим прощенья!

– Будьте здоровы! Всякого благополучия! В случае чего ежели оставьте свой адриц, потому у нас господа часто спрашивают... Хор-рошие господа спрашивают, не такие... Слава богу, довольно даже известны именитым господам...

У Ивана начиналась тогда выпивка с человеком, известным именитым господам; а Иван Николаевич по-прежнему оставался одиноким в своей одинокой квартире.

III

И вот эта-то молчаливая квартира знала все тайны Ивана Николаевича, которые исковеркали его жизнь и сделали из него мрачного нелюдима. Не раз ее безмолвные стены были свидетелями того, как человек, приюченный ими, во время бессонных ночей подолгу думал о чем-то и, всплескивая судорожно сжатыми руками, вскрикивал:

– Боже мой! Боже мой! За что же мне все это? Почему?

Никто не отзывался в пустынной квартире на эти полночные крики, за исключением часового маятника, чикавшего с досадным однообразием, да какой-то птички, трепыхавшей сонными крылышками в клетке, привешенной к потолку.

В ночной темноте, в которой, как говорится, хоть глаз выколи, Иван Николаевич как на ладони видел свою далекую родину, цветущую роскошными полями, лесами и реками, – и людей, утонувших в безысходной и совершенно невообразимой нищете. Вон они – эти хилые, вонючие избы, наполненные орущими детьми, которых старшие вместо хлеба кормят тукманками, вместо ласк ругают чертенятами, вместо свойственных всему живому стремлений поддерживать и воспитывать молодую жизнь желают ей скорой смерти. Тут же и его собственное детство, хилое, бесхлебное, исполненное ругательств, побой, паршей и всякого рода лихих болячек, при одном воспоминании о которых переворачивается все нутро человека, пережившего их.

Шире и шире разворачиваются воспоминания, – ясность представлений картин прошедшего доходит до осязательности: вот перед ним маленький сутулый ребенок, робкий до содрогания, болезненный до неудержимого желания упасть всей головенкой в колена вон той старушки, которая приютилась в углу комнаты около алебастровой тумбы.

Видит Иван Николаевич, как морщинистые руки старухи ласково гладят голову ребенка, замечает даже, что ребенку сделалось лучше от этого, потому что он успокоился и заснул; но руки всё продолжают гладить его, – и руки те, несмотря на непроницаемый комнатный мрак, так и сверкали в глазах Ивана Николаевича своею прозрачною белизною. Они были такие маленькие, высохшие, по их белому фону узорчато проходили синие, напряженные жилки...

Ребенок этот – он сам, Иван Николаевич Померанцев. Сознавши это, он почему-то засмеялся тихим таким смехом; но тем не менее смех этот довольно звучно прокатился по пустым, одичалым комнаткам. Ему показалось, что комнатки в это время покачали головами, как бы недоумевая, чему это он смеется.

– Как же мне не смеяться? – старается Иван Николаевич объяснить своему жилью причину смеха. – Ведь этот ребенок – я, а старуха – моя бабушка! Да! Она рассказывала мне о том, как Пугач Пензу брал, как его шайки города Ломов, Наровчат и Чембар разорвали.

Эта рекомендация и себя, и своей бабки не вывела, однако ж, квартиру из ее недоумения. Она выслушала рассказ с сердито и печально нахмуренными бровями. Иван Николаевич, как бы приметивши это, вдруг вскочил с дивана и скороговоркой проговорил:

– Нет, это, однако, уже бог знает что! С стенами стал разговаривать. Довольно! Уснем!

Долго и пристально сквозь шторку всматривался в по-меранцевскую спальню петербургский месяц своим холодным, сосредоточенным взглядом, и вот какая-то туча, вероятно, сжалившись над бессонными людьми, страдавшими от этого безучастного, неподвижного взгляда, закрыла собою месяц – и бессонные люди уснули; но в квартире Ивана Николаевича, к его ужасу, на том месте, где переливались месячные лучи, теперь стал отец его, сверкая воспаленными глазами...

А вон за дверной драпировкой спряталась его заплаканная мать. Отец кричит что-то насчет какого-то щенка, которого он должен кормить, и потом с скрежетом зубов дает клятву убить и щенка и тех, кто им наделил его...

С проклятиями отца смешивается старческий голос бабки. Она называет зятя злодеем и кровопийцей и выражает несомненную уверенность в том, что гром небесный рано или поздно непременно поразит его за такие богопротивные слова...

Истерический плач Ивана Николаевича прогнал эту галлюцинацию – и он уснул.

Во сне очень долгое время перед ним бесилось коростовое стадо разношерстных ребятишек, голодных и потому воровавших у всякого все, что только попадало под руку; беспризорных и

потому по-зверски изодравшихся; без хороших, руководящих примеров и, следовательно, в самом детстве уже обреченных на гибель, как почти без исключения погибают все люди, не приспособляемые с ранних лет к правильным пониманиям и отношениям к жизненной действительности... Пронзительный звон колокольчика загонял это стадо в какие-то смрадные стойла, где большею частью ему говорились какие-то ни в одном слое общественной жизни не употребительные слова. Шипенье гибких двухаршинных розог, рев десятка детей, которых в разных стойлах полосовали ими, звон колокольчика и, наконец, ни от чего этого не прерывавшееся внушение тарабарской гибели сливались в один общий, исполненный самого варварского безобразия, гул и заставляли Ивана Николаевича, как одержимого горячкой, метаться на постели и кричать:

– Боже мой! Боже мой! Что же это за несчастные времена были? Сколько честного и даровитого сгублено ими?..

Болезненное личико сутулого ребенка опять выглянуло на него из этого омута, в котором, как бы в кипящем котле, безразлично варились плачущие дети, свистящие прутья и какие-то мифологические образины, то протяжно певшие: «Сл-ледующий! Приступим: *Marcī Tullīi Ciceronis*[5] *orationum capitū secundum*[6]», то снисходившие до сладострастной скороговорки: «Так, так! Поджарь, поджарь кашку-то *lictor!*[7][8] Хе, хе, хе! Не жалея казенненьких-то!.. Их целый воз в прошлую пятницу на базаре куплено. В такт действуй, подлец! Чик, чик, чок, чок! Зайди с другой стороны, чтобы ровнее шли... Я в-вас!..»

Пуще всех истязуют сутулого мальчика, потому что он, по меткому выражению одного из преподавателей татаромудрия, в одно и то же время составлял и красу и безобразие стойла. Красой он был потому, что лучше и легче других умел усвоить себе неуусвоиваемое; безобразием – потому что в действительности был некрасив, болезнен и робок. Отсюда ироисходило то, что мальчишки насмерть заколачивали его из зависти к его красе, а татарщина терпеть его не могла потому, что была лишена всякой возможности представить вниманию гг. ревизоров стойла более представительного и красивого премьера.

С глубоким участием следит сонный Иван Николаевич за судьбой несчастного ребенка и даже, забывши, что это не кто другой, как он сам, говорит в бреду:

– Бедный! Бедный! С ним поступают точно так же, как со мной! Ах, как это похоже одно на другое! Нет! Подождите: я не дам погибнуть ему. Я вырву его из ваших лап!

И вот видится ему, что стойло, всегда смрадное, возможным образом прибрано: его грязный пол усыпан свежим сеном, промозглые стены выбелены; лохматые ребятишки выстрижены наголо, и прорехи на их рванье кое-как стянуты толстыми, суровыми нитками. В притихшем стойле уныло звучит болезненный голосок сутулого мальчика, не без некоторого самодовольствия рассказывавший, как когда-то какой-то *illustrissimus dux*[9] наголову расколотил целую тьму каких-то *raganissimos*[10].

С чувством, с толком, с расстановкой и, кроме того, с любовью к изученному делу мальчуган передает в назидание своих сверстников все те симпатии, которые доблестный дееписатель выражает к *illustrissimus*'у, и равномерно все глубокое отвращение к этой расколоченной ими в пух и прах сволочи – *raganissimus*'ам.

– И нас, и нас так же и тому же учили, – восклицает во сне Иван Николаевич, словно бы обрадовавшись тождеству образования в разные времена. – Мальчик! Мальчик! – громко кричит он, как бы окликаая кого-то, находящегося от него на большом расстоянии. – Брось эту глупую книжонку, мальчик! Изорви ее. Не слушай их. Не учишься восторгаться грабежом и убийством победителей, учишься любить и помогать побежденным. Ах, злодеи! Испортят они у меня ребенка. Не слышит меня, бедное дитя...

И в действительности, ребенок не мог услышать звавшего голоса, потому что все его

внимание было окончательно задавлено последними наставлениями, имевшими целью еще более усилить его познания в татаромудрии. Это был последний муштр, которым муштровали мальчика в стойле, и когда он окончился, Иван Николаевич видел, как сутулый мальчик из ушата, стоявшего на дворе стойла, умывал лицо, раскравленное нетерпеливой руководительскою дланию, как он заботливо прятал за пазуху какую-то книжку, как переходил отвратительный мостишко, перекинутый через великолепную реку. Потом мальчик потянул в гору по бесконечно длинной дороге, обсаженной двойным рядом густых ветел и залитой дивным сиянием солнца. Иногда он останавливался, вынимал из-за пазухи книгу и с видимою радостью принимался читать ее заглавный лист, на котором было написано следующее: за благонравие и отличные успехи в науках ученику такого-то стойла... и проч.

Вот уже виднеется один только картузишко ребенка с разорванным пополам козырьком. Ивану Николаевичу кажется, что картузишко этот плавает на поверхности хлебного моря, как на настоящей реке остается и долго плавает шапка человека, который спрятался на тенистом речном дне вместе с своим смертельным горем...

Нет более сутулого ребенка! Всего его схоронила эта пустыня, ласковая и величавая.

– Это он домой пошел на вакацию! – шепчет Иван Николаевич. – Ах! Как там хорошо теперь!..

IV

А между тем к двери, обитой черной клеенкой, нет-нет да и толкнется какое-нибудь лицо. Приходила вечно сердитая прачка с тяжелой корзиной на голове и с длинной рыжеватой эспаньолкой, властительно рассевшейся на левой щеке. Позвонивши несколько раз нетерпеливой рукой мастерового человека, дорожащего временем, она находчиво посмотрела в замочную скважину и, когда увидала, что в ней нет ключа, тотчас же принялась спускаться с лестницы, пыхтя под тяжестью своей ноши и бормоча себе под нос, что «ишь-де, с коих пор шуты со двора уносят! Придется уж из девушек кого-нибудь спосылать к нему. К этому не опасно, – не дозволит заболтаться, медведем лесным глядит...»

Приходил почтальон в разбитых сапогах и в отрепанном сюртучишке, весь пропитанный первейшим полугарным запахом. Он очень долго звонил с такою энергией, с какою звонят у своих собственных квартир только самые нетерпеливые хозяева. Ни до чего не дозвонившись, он стремительно сбежал под ворота и спросил у рыжеватого дворника, мирно созерцавшего, под влиянием только что огорошенной на даровщину косушки, бурное течение петербургской жизни:

– Што у вас нумер тридцать седьмой поколел, што ли?

– А што?

– Звонил, звонил...

Дворник отвернулся от почтальона, не удостоив его ни малейшим ответом.

– Што же ты, леший, ничего не говоришь? Дома нет, што ли?

– Мы об эфтим неизвестны. Мало ль у нас всякого народу живет? Углядишь за ними – как же!

– Так вот возьми письмо.

– Ну, это дело не наше – за всякого по три копейки платить.

«Мы тебя пропекем, пымаранец, – думает дворник после ухода почтальона, по-мышачьи проворно юркнувшего вместе с письмами в ближайший погребок. – Мы тебе дадим письма!»

– Эй, друг! Послушай-ка! – спрашивает дворника какой-то господин, не сходя с извозчичьих дрожек. – Что, Иван Николаевич Померанцев дома?

– Толички сичас вышедчи, ваше высокоблагородие! – отвечал дворник, держа на отлете снятую шапку. – Вот толички что перед вашим приездом взяли извозчика и в эфту-то вот самую сторону и натрафили.

– Мы тебе удружим! – повторял дворник тихомолком, самолично взбираясь к Ивану Николаевичу с огромной вязанкой дров. – Мы тебе покажем коку с соком.

И на его звонки не отперлась неприветливая дверь, ревниво охранявшая своего хозяина с его думами и видениями.

– И когда его черти унесли только? – недоумевал дворник, сбрасывая дрова у дверей. – Кажись, все время у ворот сидел, а не видел. Ну да ничего! Подбирай покамест дрова-то, пымаранец! Паг-гади! Мы тебе удружим...

– Вам кого угодно? – спрашивал он уже на дворе бравого, седого шеврониста[11], видимо, отыскивавшего чью-то квартиру.

– Господина чиновника Померанцева, – отвечает ундер. – От господина экзекутора[12] из департамента прислан, чтобы, то есть, изволили они явиться на место своей службы. Который уж день ни сами не являются, ни репортчики не шлют. Это што же будет такое?

– Да их уж кое место дома нет, – докладывает дворник. – Многие спрашивали – не вы одни. Да ведь где ж их найдешь? Онамедни еще в двух колясках укатили куда-то, надо так полагать, што за город... Барышни, эт-та, при их... товарищи... Што вина с собой понаклали, што всякой всячины, – страсть!..

– Что же это? Значит, тово?... – осведомляется ундер, знаменательно пощелкивая себя по тугому воротнику. – Бывает сюда-то?

– Быв-ваит? – удивился дворник. – Да кажинный божий день... То есть такие гулянки, хоть бы графу какому!.. То просители, то мало ли кто... Основной снуют... И сколько нам хлопот с этим господином, б-беда! То и дело в фартал из-за нево... Онамедни, этта, двух девиц р-резь по шшокам!.. Блаородных – не каких-нибудь... Так-тось! Бе-ед-довый, умереть на месте!

– Гм! – кашлянул ундер. – Так нет дома?

– Ни б-боже мой...

– А где тут у вас позабористее? Ходишь-ходишь за ними, собираешь-собираешь их, совсем с ног собьешься.

– Позабористее? Вот насупротив! Добегем на минутную. Я кстати с вами, господин кавалер, за компанию. У меня, признаться, ноне тоже поясница што-то... Поигрывает быдто... А заведеньице у нас, прямо сказать, хоть бы гыспадам афицерам гулять... Не замараются, – верьте слову...

– Нам все единственно, – сказал ундер, уже на шагу к рекомендованному заведеньицу. – Привыкши ко всяким... В тридцать-то восемь годов... Д-да! Привыкнешь ко всяким, друг!.. Нюхаешь? Сам тер... На березовой золе...

– Больше трубку... А впрочем, потребляем скуки для ради! Ч-чх-хи! О, да какой лютой, волк его зарежь! Так в слезы и вдарил!

– Хе, хе, хе! – засмеялся ундер. – Вдарит как есть! Привычных-то вон какие ежели, так и то... Страсть! Крестуются иные... Это, говорят, черт, а не табак! Хе, хе, хе!

Ничего этого не видит и не слышит Иван Николаевич, потому что он снова увидел своего сутулого мальчика, который уже теперь не мальчик, а взрослый юноша, с задумчивым, сосредоточенным взглядом. Как большая часть юношей, он ведет свой дневник – и Иван Николаевич читает этот дневник с самым пожирающим любопытством.

Дневник начинался описанием значительного провинциального города, который своими дивами очень подействовал на впечатлительное воображение ребенка, не выдавшего ничего грандиознее двухэтажного дома уездного головы. Тут было и ученье губернского батальона с серьезным, но несколько хриповатым подполковником, то и дело встряхивавшиеся плечи которого так и рассыпали от себя золотые искры. Большая Московская улица занимала в дневнике целые десять страниц: золоченые государственные орлы, распростертые над дверями двух губернских аптек, довели до лиризма младенческий слог сутулого мальчика. Всесветная слава русского орла была воспета едва-едва грамотным поэтом с чувством, делавшим отличную честь его патриотическим стремлениям. Быстро пролетавшие кареты помещиков и разных губернских властей заставляли мальчугана с судорожной поспешностью сдергивать с головы шапчонку и почтительно раскланиваться с восседавшими в них, как говорится в «Приключениях английского милорда Георга»[13], знатными обою пола персонажами.

«Но барыни, – сказано было в дневнике, – смеялись надо мной и вслух с громким смехом говорили: ах, какой смешной мальчишка! А я перенял это у нашего священника и у тятеньки, и потому мне было очень обидно, что надо мною смеются. Священник и тятенька поклонятся, бывало, всякому тарантасу, какой по селу проедет. Случалось, что тарантас бывал задернут кожей, но они все-таки кланялись. Я однажды сказал тятеньке: „Ведь барин-то спит, зачем же ты кланяешься?“ – „Как зачем? – удивлялся тятенька. – А ежели в случае барин-то проснется да у кучера спросит: што, скажет, кланялись мне в таком-то селе?“»

Глубоко, так сказать, трепетавшими штрихами ребенок описывает тот экзамен, которому подвергли его в губернском городе.

«Мой тятенька, – летописал ребенок, – все время крестился и плакал, стоя у растворенных классных дверей. С ним вместе стояло много священников, дьяконов и дьячков. Все они вытирали заплаканные лица красными ситцевыми платками и тоже, как и отец мой, глубоко вздыхали и крестились. Я писал рассуждение на латинском языке: *serva ordinem et ordo servabit te*[14] но не мог хорошо писать, потому что от страха мне хотелось спать... Отец в это время потихоньку взглядывал на меня из-за дверной притолоки и грозился пальцем, чтобы, то есть, я старался... Я от этого еще пуще пугался...

Подле меня сидел мальчик с большими синими глазами. Он как будто ничего не боялся, а все засматривал в мою тетрадь и все спрашивал у меня, как будет *perfectum*[15] такого-то глагола, как *supinum*[16]. Я ему подсказывал, что знал...

Потом мы с ним разговорились шепотом, не глядя друг на друга, чтобы нас не заметили, и он сказал мне: „Напиши мне рассуждение, *amice*![17] Я тебе арбуз ужотка куплю“. Я ему стал писать, а меня вызвали на серединку.

И как я на билеты был очень счастлив, то меня спросили про Китай. Я очень хорошо знал про Китай и стал отвечать, а преосвященный стал смотреть в меня (седой весь!), и глаза у него в это время то смыкались, то открывались, словно бы и ему спать хотелось. Я не мог смотреть ему в глаза и сам от страха зажмурился. Так и отвечал, а сам все думал: как бы меня не

спросили из физической географии или из Российской империи. Из них я не понял, как земля совершает двойное движение – около себя и около своей оси; а из России, кроме как наизусть выучил все губернские и уездные города, ничего не знал, – особенно реки, кроме Волги, ни об одной понятия не имел... Этого я очень опасался...

Однако бог спас. Спрашивали еще из Ост-Индии, и это ответил отлично. Преосвященный изволил благословить меня и сказать: „Хорошо, дитя! Старайся!“

Не помню, как я выбежал к отцу в коридор. Он и дядя стали целовать меня и говорить: „Молодец! Вот так отрезал!“ Приметил я, что от них от обоих пахнет водкой. Какие тут стояли другие духовные, все хвалили меня, гладили по голове, а один какой-то благочинный с наперсным крестом и в полинялой бархатной камилавке, во все время ходивший поодаль от других и важно гладивший бороду, подошел к нам, дал мне гривенник и, благословивши, сказал: „Преуспевай, остроумец! Я на тебя надеюсь!“ От него и ото всех пахло водкой. Все друг над другом по этому случаю тихомолком подшучивали.

– Што, отец дьякон, – спрашивал мой дядя у входившего в коридор дьякона в зеленой рясе, который торопливо дожевывал крендель, – пропустил малую толику?

– Истинно для смелости, ваше благородие! – отвечал дьякон дяде (а дядя служил столоначальником в консистории), – потому тут как раз можно живота решиться от страху. Скоро теперь моего сынишку вызовут, и вот не стерпел – выпил на шесть копеек. Беда, ежели из арифметики спросят, шабаш! Придется домой назад тащить, потому слаб у меня сын из этой науки. Да что? И смотритель-то ихний сам онамедни мне сознавался: знаю, говорит, только одни именованные числа. Напившись, этта, пьян, со слезами мне толковать принялся: „Где мне все, старику, помнить, дьякон? Представь, говорит, брат; на трех женах женат был... Тут, брат, дьякон, забудешь...“ Очень дурашлив в пьяном образе этот смотритель.

Дядя сказал мне, чтобы я скорее дописывал задачу, а потом приходил бы к нему обедать. Я пошел за парту, а там уже не было ни моей задачи, почти уже конченной, ни соседа моего – мальчика с большими синими глазами. Он спешно писал что-то на задней парте и сам посматривал на меня исподлобья. Не нашедши задачи, я принялся плакать, потому что старший уже начал собирать сочинения, и мне нельзя будет успеть написать другое. Приметивши, что я плачу, старший подошел ко мне и спросил: о чем я плачу? Я сказал ему: „Перевод мой пропал, когда я экзаменовался“. – „Ничего, – сказал старший. – Ты помнишь наизусть все, что там написал? Прочти-ка мне“. Я прочел. Тогда он вдруг бросился к мальчику с синими глазами и нашел у него мое сочинение в греческом Завете[18]. Мальчик принялся божиться, что перевод я сам нарочно подложил к нему в книгу из ненависти; но старший ему не поверил и доложил об этом его превосходительству.

Они же только немножко взглянули в нашу сторону и тут же тихим таким голосом изволили сказать: „Исключить!“ Потом сейчас взяли перо и толстой чертой, облившей чернильными брызгами всю страницу, вычеркнули из списка имя и фамилию мальчика с синими глазами.

Ужас тогда напал на всех страшный! В класс стремительно ворвался благочинный с крестом и в полинялой камилавке. Бросившись на колени, он поднял руки кверху и кричал:

– Ваше превосходительство! Пощадите! Простите!

– Сказано! – еще тише сказали его превосходительство, на минутку открывши глаза и легонько стукнувши по столу худощавым пальцем.

Все тогда, кто присутствовал на экзамене, бросились к благочинному и зашептали около него:

– Батюшка! Извольте идти! Батюшка! Не извольте беспокоить! Идите! Идите! И что это вам

вздумалось так... вдруг... без доклада?

– Да ведь дитя!.. – рыдал благочинный. – Ведь он у меня единоутробный. Од-дин! Отцы! Помолите за меня... Умру...

И в то время как отец благочинный рыдал таким образом во весь голос, как сельские бабы рыдают на похоронах отца или мужа, какой-то усталый, больной голос протяжно проговорил:

– Господин экзаменатор! Зовите следующего. Никто не видал, кто сказал эти слова, потому что у всех были зажмурены глаза...

Обедал я в этот день с отцом вместе у дяди. Он все смеялся над отцом и надо мною, что мы не умеем кушанья брать по-господски. Жена его тоже смеялась над нами и сын. Сын-то все ко мне по-французски приставал; а я ему все по-латыни. Он очень конфузился, что меня не понимает, а я его не конфузился. *Fratrem, vel inimicum in te videndum sum*[19]? – спрашивал я у него. Он наконец заплакал и пошел жаловаться на меня матери. Я тоже пошел к отцу и дяде, чтобы они не велели ему налетать на меня с французским языком, – я этому французскому-то языку очень скоро сам выучусь. Дядя и отец пили в это время водку и всё надо мною смеялись и экзаменовали меня из разных предметов, и так как я отвечал им очень хорошо, то дядя подарил мне свои старые сапоги и целковый денег.

За обедом было такое угощенье, какого я на светлый праздник у своих помещиков не едал. Угощали сладким вином в высоких таких рюмках, – кипит, как кипятки в чугуне, – одна бутылка, дядя-то сказывал, четыре целковых стоит. Тетка учила меня, как держать нож, вилку и ложку, а дядя говорил мне: „Вот старайся – учись хорошенько, – и у тебя то же будет...“

Меня это очень удивляло, потому что дядя был исключен из училища за леность и неспособность и, следовательно, без ученья имел все. Я сказал об этом отцу потихоньку. Отец тоже шепотом закричал на меня: „Молчи, срамец! Разве можно так про старших думать?..“

К концу обеда дядя очень раскуражился и стал бранить отца будто бы за невежество. Говорил: „Произвел бы я тебя в дьякона, брат, но ты, свинья, не стоишь этого“. Отец сказал ему: „Ты сам свинья! А я тебе старший брат“. Чуть-чуть не подрались, тетка их усмирила и заставила поцеловаться. После этого отец стал говорить многолетие во весь разверт, все служители смотрели на него из другой комнаты и смеялись; а дядя сидел в кресле босой, в красном халате и во все горло, визгливым таким дискантом то пел многая лета, то кукурекал вроде кочета... Я этому очень дивился и думал: барин, а блажит хуже мужика...

Когда все из комнаты ушли спать, я начал читать подаренные мне дядей записки, по которым должен учиться. Он нарочно купил их для меня целый ворох. Мудрены ужас как! В Логике не понял ни слова. Бог знает, что там написано: буквы русские, а слова латинские, например: отношения идеального к реальному, последние абсурды позитивизма и т. д. А то встретил фразу, вся она по-русски написана, но я не понял ее: „Что должно разуметь под словом – признаки предметов? Под словом – признаки предметов должно разуметь признаки признаков предметов, которые заключаются в сих признаках...“ Как меня учила мать, стал я молиться святому Наумию, чтобы он меня надоумил понять, но все не понял... С сердцов стал плакать, а потом и совсем уснул... Очень меня напугали эти тетради, так что и во сне все думал: ну, как я из них ничего не пойму – и меня возьмут да исключат...

На другой день мы с отцом встали еще до свету, и он стал говорить мне с искренними слезами, так что всего его в это время лихорадка била, – чтобы я, как можно, старался учиться получше. „Бог даст, – говорил отец, – окончишь курс, поступишь в попы, так, по крайности, поможешь сестрам в честное замужество выйти. Не кончишь курса, – шабаш! Сестры твои шинки откроют, мы с матерью побираться пойдем, потому мы к тому времени все жилы из себя на вас повымотаем – состаримся“.

Слушая это, я тоже дрожал как в лихорадке и думал: как это я так не окончу курса? Как это мои сестры шинки откроют, а отец с матерью побираться пойдут? За один раз мне и сердце щемили отцовы слова, и смеяться хотелось от них...»

Страдательно нахмутив густые черные брови, сидит в Петербурге за своим письменным столом Иван Николаевич и, перелистывая какое-то за № 17.803 «Дело об оштрафовании купца Самуила Самойловича за перекур трехсот восемнадцати с семью сотыми ведер полугарного вина», изредка своим густым басом комментирует лепет сутулого ребенка.

– А ведь ребенок-то погибнет, – болезненно хрипит Иван Николаевич. – Точка в точку и со мной было так, он идет по проторенной мною дороге. Я ребенком бога видел в лесу... А они тут... курс... курс... Шинки и сестры!.. Я, брат, знаю, что такое шинки-то! Куманек, побывай у меня, да вприсядку! Или: не белы-то снега, да в горячие слезы... Зн-наем.

Э-эх-х, нне б-белы...

– Давно уж это было – и я забыл теперь, как Он шел ко мне из сосновой благоухающей чащи, махая белыми, как снег, крыльями... Я упал в это время, и надо мною пронеслись несказанно сладкие звуки сдержанного лесного ветра... Проснулся, а около меня серый прохладный песок, подернутый зеленым ласковым мхом... На такой почве растут высокие сосны... Вечером из такого места не вышел бы... Я, брат, знаю... Это, брат, храм, а не декорации...

– Сестры! Сестры! – продолжал Иван Николаевич свой монолог. – Нет, этими сестрами-то да благонамерениями пуститься с сумой хоть кого напугаешь. Она, сестра-то, что такое в нашем нищенском быту? Ее вот ребенком-то нянчишь-нянчишь, а и сам-то в это время с клопа весь. Спишь-спишь с ней на полу под лавкой вместе с котятками, все лицо-то тебе она расцарапает, шкур двадцать с рыла-то с твоего сдерут ее когти, прежде чем она в разум войдет, от полу мало-мальски поднимется. А поднимется, станешь ты ее на своих молодых плечах из навозных ям вывозить. И ведь вывозится будто... «Понимаешь ли?» – спрашиваешь. «Понимаю», – шепотом говорит, и видишь, что у ней слезинки на глазах навернулись, по белому лбу ранней дорогой морщинки пошли...

– Думаешь тогда: а-а? Из девочки-то человек выйдет, не коровка. И вдруг приедешь ты домой помогать отцу Христа славить, а она тебя как обухом в лоб ошарашивает: «Милый, говорит, братец! Не смейши я, говорит, доложить родителям, что у нас полковая рота стоит...» – «Н-ну?» – спрашивает брат. «Так вот теперича я замуж выхожу за солдатика одного... Он, почитай, в офицерстве... шинель со сборками носит, на дворянской манер...»

– Ополоуметь, как этакой-то рапорт тебе подсунут о выхождении в замужество за солдатика, носящего сборчатую шинель...

– Конечно, тут до шинка-то рукою подать. А там:

Опоздился купец[20]

На дороге большой... —

запел Иван Николаевич в своей пустой квартире и со смехом забормотал:

– А вскорости в сих местах должна будет явиться молодая беззаботная бабенка с румянцем во всю щеку, с громким хохотом, с забористой руганью, одним словом, та шибко распространенная по лицу земли русской бесшабашная погань, которая дотла будет опивать останавливающихся в ее шинке мужиков и мещан и за это будет предсказывать им по засаленным святцам дни праздников и предпразднеств, лечить их одурелых жен водой, настоянной на присушном и отсушном корнях, и в случае ежели какое-нибудь

имущенское начальство не будет брать взятки, так эта бабенка примет на себя поручение общества искутить жену бескорыстного

имущенского начальника – и искутит ее, чем и оправдает изречение мудрых предков, гласящее, что где черт не сможет, туда бабу пошлет... Вот она какая сестра-то! Радуйся! А впрочем, черт с ними совсем! – неожиданно выругался Иван Николаевич, махнув рукой. – Нет, брат, мальчик! Ужасаться отцовым пророчествам ты можешь, а смеяться над ними – нет; потому что все именно так и будет, как не хочет сейчас твое молодое сердце: отец твой с матерью побираться пойдут, сестры шинки откроют, а сам ты... уж и дьявол тебя знает, что из тебя будет со временем. Поживем, так увидим. Однако что же это я сержусь? – спросил себя Иван Николаевич. – За что? На кого? Пора бы, кажется, перестать. Ну, мальчик, рассказывай, чему тебя еще поучал отец?

«Кроме того, – рассказывал ребенок, – отец очень сердился на меня за то, что заметил во мне непочтительность к старшим. „Все, – говорит он, – ты делаешь срыву. Ни к кому никакого ласкательства не оказываешь“. Я чувствовал за собою этот порок, то есть что ласкаться мне к людям стыдно, подумают, что я у них прошу чего-нибудь, и потому стал плакать, а отец утешал меня и советовал как можно скорее

исправиться...

Потом я проводил его до заставы. Было холодно, и дождь лил как из ведра. Около заставы стоял кабак, мы вошли в него. Там горела тусклая сальная свечка и сидели мужики с красными, задумчивыми лицами. Отец вынул из-за пазухи кошелек и все деньги высыпал мне. В кошельке оказалось три серебряных целковых и гривен шесть медных. „Вот, говорит, тебе до Рождества, – кормись! А за квартиру сам заплачу, когда за тобой приеду брать тебя на Рождество“. Я стал говорить ему, чтобы он взял у меня рубль; но он отказался от рубля, а отсчитал себе только три гривенника, из которых один тут же и пропил. Я спросил у него:

– Как же ты с двугривенным полтора верста пройдешь? Что есть будешь?

– Ничего! Как-нибудь пройду... Притворюсь дежурным из консистории, – попады, надо полагать, кормить будут... Дай-ка мне еще гривенничек, я выпью.

Я дал ему гривенник... и он выпил. Выпивши, обнял меня, заплакал и, рыдаючи, сказал:

– Несчастные мы! Несчастные! Несчастнее нас, кажется, во всем белом свете нет никого... Всю жизнь, всю-то жизнь жизненскую майся без отдыха... Отвсюду за твой голод и холод насмешки паскудные, брань мерзкая – и ничего не поделаешь!... то есть никакими средствами не вылезешь... Как бы не вы, ребята, засел бы я в любом кабаке и поколел бы в нем... Блаже мне было бы!.. Ну, прощай! Да будет воля господня! Смотри же, друг, учись, старайся!.. Выручай!..

Он пошел, а я долго смотрел ему вслед, – до тех пор смотрел, пока совсем не закрыли его от меня туманные стены проливного дождя.

У меня так и разрывалось сердце от жалости к отцу, и я едва-едва не убежал вслед за ним...»

Все больше и больше вчитывался Иван Николаевич в дневник сутулого мальчика, и именно как будто от этого обстоятельства и сам он, и квартира его делались все страннее и страннее.

Дешевые гравюры с дорогих оригиналов, висевшие по стенам померанцевской квартиры, алебастровые снимки с увековечивших человеческую красоту статуй, расставленные по стенам маленького зала, приняли какое-то странное выражение, напоминавшее тусклый и унылый взгляд человека, который долго был болен, долго страдал и скоро должен умереть.

Купы цветов, в середине которых белели алебастровые статуэтки, плющ, так красиво обнимавший картинные рамки, – все это покрылось седой пылью и сетчатой паутиной, в которой жалобно жужжали терзаемые пауками мухи, между тем как по головкам статуэток, между извилистыми линиями кудрей, прошла зеленая скользкая плесень...

От птички, клетка которой висела у потолка, давно уже не слышно было никакого голоса. Редким только трепыханьем крыльев она напоминала о себе Ивану Николаевичу, и тогда он подходил к ней и ласково говорил:

– Ну что? Ну что? Одни мы с тобой? А? У тебя водицы нет? Семечка нет? Ну, дело! Я тебе подсыплю, подсыплю – и водицы подолью. Спи! Ты у меня умница! Вот мы с мальчиком так дураки, несчастные дураки... Послушай-ка, что он тут прописывает.

И Иван Николаевич читал скороговоркой, по временам перемежая эту скороговорку то сдержанным смехом, то тем глухим всхлипыванием, каким обыкновенно плачут мужчины, когда не хотят, чтобы люди видели их слезы.

«3 сентября. Как только я, проводивши отца, пришел в класс, ученики прозвали меня франтом, потому что я был в ватной сибирке из желтой нанки и в замшевых перчатках, так как руки у меня дома от работы и от нечистоты закоростевели и отец намазал мне их серой с коровьим маслом. Все меня со смехом принялись бить, плевать в лицо, а за мальчика с большими глазами, который накануне украл у меня задачу, стали звать выслужкой, то есть ябедником. Пришел профессор в коротком сюртуке и в пестрых штанах, которые были на манер ситцевых. Он стал говорить со мной, и тогда весь класс почему-то вдруг громко захохотал, а я стал плакать. Профессор, вместо того чтобы заступиться за меня, подморгнул ученикам и сказал им: „Не тревожьте его, братцы! Это прекрасный молодой человек – сочинение Поль де Кока[21], роман в двух частях“.

Целых полтора часа издевался надо мною профессор, а класс грохотал, и наконец, когда пробили звонок, он сказал мне: „Ну, прощай, дамский портной! ха, ха, ха!“

Так с тем я и остался, и ни от кого мне не было прохода, и имени мне от товарищей другого не было, как только „дамский портной“ и „прекрасный молодой человек“. Всеми силами старался я подружиться с кем-нибудь из них, но все они, обругавши меня и насмеявшись надо мной, уходили от меня.

Декабря 1-е. Дали сочинение: „Весна приятна“. Нужно было написать три периода: причинный, уступительный и относительный; но я не понял, как профессор учил сделать это, а просто взял и стал говорить, как приходит весна, как солнце сушит грязь, и вместо нее, встанешь иной раз поутру, увидишь тропинку мягкую такую, белую... Кто протоптал ее за ночь, не знаешь; а потом побежишь по ней... Она криво бежит к лавке, к попу, в кабак, потом

в лес, где и прячется в прошлогодней, успевшей уже обтаять траве. В траве вода чистая и холодная, как лед. Руки и ноги, бывало, ужасно как зазнобишь, бродя в этой воде. Они сделаются, бывало, красные, как огонь, а потом посинеют. У кого посинеют руки и ноги, мы тому скажем: у тебя руки и ноги помертвели; потом все бросимся на этого мальчишку или девчонку и станем оттирать, а сами хохочем на весь лес... Около нас шумела глубокая и широкая река, а по ней скоро неслись большие льдины с густым камышом. По ним бегали и жалобно кричали зайцы, а самые льдины сияли на солнце так, что мы жмурили глаза... Мы смотрели на это по целым дням и целые дни смеялись...»

– А, скверный мальчишка! – бормотал Иван Николаевич, покусывая свои бакенбарды. – Из него поэт формируется. Ничего с ним не поделаешь. Колеют ныне такие люди хуже паршивых собак... Посмотрим, что дальше будет?

«Все это я так и написал. И много другого еще про бабочек, про птиц, – потом как у нас однажды в полноводье лодка плыла с мельницы, которую чуть-чуть не затопила вдруг прорвавшаяся плотина. В лодке была мельничиха, сама она правила, отталкивала льдины и кричала, чтобы ей помогли, и дети у ней в лодке ползали и кричали, а кто был на берегу, все молили бога, чтобы он помог ей. Когда же она подъехала к берегу, тогда все бросились целовать ее, а ребяташки, какие тут были, смеялись и плясали...»

На другой день пришел в класс профессор и спросил меня: „Кто это тебе, чучело, написал сочинение?“ Я ему сказал: „Никто! Это я сам написал“, – и в это время у меня лицо сделалось красное, потому что я на него осерчал, зачем он мне не верит, и мне хотелось плакать. Тогда он схватил меня за уши и закричал: „Врешь, подлец! Сейчас сознавайся, кто тебе это написал?“ Я громко зарыдал, а ученики захохотали.

Профессор согнал меня в это время с первого места на последнее; а я написал письмо матери, чтобы она приехала ко мне и

исключила меня, потому что я не могу понять ученья, то есть как писать.

Мать привезла мне сухой малины и орехов; долго плакала, прыскала мне голову святою водой, потому что голова у меня горела как в огне, а потом уехала домой с обратными мужиками, и я остался один...

Перед святой как-то сидели мы в классе, и профессор сказал нам: „Ну, братцы, теперь скоро публичный экзамен будет, и нам нужно наостриться стихи сочинять. Вот они какие бывают, стихи-то“, – и он развернул книгу и начал нам читать стихотворения разных размеров, объясняя при этом, что такое ямб, хорей, дактиль, анапест и др.

И как я у дедушки, у протопопы, таких стихов прежде много читал, то и подумал, что писать их не мудрено... Еще подумал, что как только я напишу стихи, сейчас меня все полюбят и профессор посадит меня на первое место... „Ну кто же напишет, братцы?“ – еще раз спросил он, и тогда я встал с места и сказал, что я могу написать. Он задал мне – „Осень“, – и к концу класса я приготовил вот какие стихи:

ОСЕНЬ

Перезрели в просах зерна,

Перезрели.

Звонким лѐтом над реками

Птицы пролетели.
Вслед им пущен громкий выстрел
От сенного стога.
До весны прощайте, птицы,
Путь вам и дорога! —
Им стрелок сказал, ступая
Топкой колеєю;
Был он с потными усами,
С мерзлой бородою!..»

– Эдакая скверность! – недовольным тоном пробормотал Иван Николаевич после того, как продекламировал эти стихи. – Поэтишка и есть, как и я. Теперь искалечат и истиранят. Тут не помогут никакие человеческие силы! В другом бы месте... конечно... Э! да ну к черту все это! Пойду-ка я в департамент. А? Скажите, пожалуйста... Ведь ухитрит же бес...

Был он с потными усами,
С мерзлой бородою...

«От этих стихов мне стало еще хуже. Профессор избил меня за то, что он думал, что я их списал из какой-нибудь книги, и все спрашивал меня, какого они размера, но я не знал этого. Пуще прежнего все возненавидели меня; ученики из других классов останавливали меня на улицах, в коридорах и требовали, чтобы я прочитал им что-нибудь

вдруг из своего ума, и когда я не мог этого сделать, они били меня и говорили: „Эх ты, сочинитель кислых щей!“

Однажды я попался на глаза инспектору. Он спросил у профессора словесности: „Этот, что ли, у тебя парнишка стихи-то сочиняет?“ Профессор ответил: „Так точно-с! Дрянь самая безнравственная... Извольте обратить внимание на морду, ваше-ие! всегда вниз... А это, доложу вам, вернейший признак злохудожной души-с...“

Инспектор долго и свирепо смотрел на меня, потом принялся ощупывать мою голову, стучать по ней в разных местах концами пальцев и кулаком (все говорили, что он отлично умеет узнавать человеческие способности, и потому многие господа привозили к нему для этого своих детей) и потом, обратившись к профессору, сказал:

– У него действительно очень развита шишка сочинительства. Только ты гляди у меня, сочинитель: не пей!.. Знаю я вашего брата. Все вы таковы. Запорю, коли что узнаю... А вы смотрите за ним построже, – за каждый шаг пробирайте... Небойсь остынет; а то ведь это искушение очень сильно... Не всякий с ним совладеет... О-охо-хо!.. Пошел прочь!..»

Прошло целых два года еще такого же бессменного горя, оскорблений, слез, и видно было, что ребенок формируется. Он уже не плакал, а злился и негодовал, и эта злость и негодование были выражены уже не ребячьим лепетом, а жарким слогом юноши, в котором закипело страстное и сильно чувствующее сердце.

«Все бы это опротивело мне до безумия, – писал мальчик, – если бы я не подружился с Васильем Западным, который однажды заступился за меня, а потом посоветовал мне, чтобы я сам старался всякому нос сорвать...

– Какого ты черта смотришь на этих подлецов? – говорил Запад. – Колони в морду какого-нибудь мерзавца, сейчас же тебе от этого веселее делается... Это, брат, верно! Ей-богу! Я это пробовал – и вот, сам видишь, кто теперь на меня налетает? А то ведь и меня, как и тебя, чуть-чуть не заклевали...

Я очень его полюбил, и вчера мы выпили с ним потихоньку от наших квартирных полуштоф сантуринского и потом за полночь читали книгу – „Мертвые души“. Я много плакал, смеялся, а в некоторых местах мне делалось до того страшно чего-то, что зубы мои стучали как в лихорадке... В мозгу пробежала какая-то смутная мысль о том, что „вот если бы и мне так-то...“. Потом мысль эта вдруг сменялась стыдом и злостью на себя за то, что она шевелится во мне. В груди и голове моей неотступно сидел кто-то и сердито говорил: „Разве ты смеешь желать

этого?“ – и этот говор был настолько слышен мне, что я терял всякую надежду на что-то; а между тем впервые услышанный мною

гром других речей, которыми поэт живописал людей и природу, лился на меня неизъяснимо увлекавшей музыкой, от которой вздрагивало тело и расширялась грудь, вся переполненная чем-то кипучим и необыкновенно сильным...

Не помню, дочитали ли мы с Западным всю книгу до конца, выпили ли весь полуштоф, помню только тусклое мерцание оплившей сальной свечи, большую грязную кухню с уродливыми, пугающими тенями по темным углам, хозяйку нашу – Агафью, толстую и добрую женщину, которая изредка вставала с сундука, подходила к нам и осуждающим шепотом говорила:

– Что это вы рассчитались, полуночники? Опять же и винище это, ишь как полосуете, ровно бы взрослые!.. Нанося! Полуштоф на две персоны... Ну, тебе, Васенька, ничего, ты силен, бог с тобой! А этот куда тянется? Ты, сова, что глазищи-то на меня пялишь? Ведь ты, дьяволеныш, больной... Нежный... Ну, ты заболеешь, али, боже избави, ополоумеешь от винища-то? Что я с тобой буду делать? Мало ли еще над тобой грохочут жеребцы-то ваши?

– Уйди, Семениха! – сердито заговорил Вася. – Не твое дело. А кто над ним будет зубы скалить, все скулы тому сворочу на сторону. Читай, читай, Ваня...

И я снова начинал не читать, а как будто идти вслед за чичиковской тройкой по пыльной столбовой дороге. Вот по бокам ее белые церкви, деревни, приютившиеся у опушки дальнего леса, там, дальше, дымится сизо-серебряная, дугообразная лента реки, мы догнали казенный обоз из гремящих бесчисленными винтами и цепями зеленых фур; пьяный солдатик, разгоня молчанье пустыни, валяет на жидковато, но бойко пиликавшей скрипке, звонко хохочет, свистит и пляшет... Одетая непроницаемыми облаками дорожной пыли, в предшестве, как военные крики, буйных и пугавших все встречное ругательств, мимо нас промчалась курьерская тройка – и моментально скрылась...

– Вставай, Ваня! – говорил мне ласково Чичиков. – Мы приехали к Петуху. Петр Петрович! Вот рекомендую вам Ваню Померанцева. Он приехал к вам рыбу ловить.

На меня повеяло той освежительной влагой пруда, когда его золотит и нежит закатывающееся солнце. Я бросился в него – и поплыл и поплыл...

– Да что ты, чертов сын, когда перестанешь барахтаться-то? – загремел надо мною голос человека, старавшегося связать мои руки. – Ишь! дьяволенок, ишь, здоровый какой! – повторил этот голос. Я открыл глаза и увидел выбеленные стены семинарской больницы, мать, умолявшую фельдшера не бить и не вязать меня и обещавшую за это сейчас же пойти в лавку и отрезать ему сукна на штаны, и Васю Западова.

– Ну, мать, молись богу! – заговорил фельдшер матери. – Очнулся, значит, сто лет проживет. Бежи теперь, тащи мне сукна да прихвати атласцу на галстук аршинчик. Очень я галстуками-то пообносился... Ухвати кстати, маменька, четверточку табачку – жукетцу, мы тут воскурим с твоим птенцом. Теперича ему это очень в пользу пойдет...

Странное дело! Вышел я из больницы с совершенно облезлою головою. Посмотрю на себя в зеркало, толкач толкачом, как есть урод; а между тем никто надо мной не смеялся. Я стал думать, отчего это меня обижать перестали, хотя по-прежнему смотрели недоброжелательно, исподлобья, сумрачно, – и дело объяснилось очень просто: мы всегда и в классе сидели, и по улицам ходили вдвоем с Западovým, и если на нас налетал кто-нибудь с дракой, мы его колотили до того, что начинали, против воли, истерически хохотать над его болями и бросали тогда уже, когда нам самим делалось нестерпимо больно от нашего смеха...

Потом мы с Западovým стали брать деньги за то, что писали за других учеников сочинения, и на эти деньги покупали красное вино, которое в бане и выпивали. Это еще более увеличило почет, которым мы начинали пользоваться. У нас оказалось много преданных ребят, которым мы писали даром, и они рассказывали всем, что мы необыкновенно умные и добрые, так что к нам стали ластиться из старших классов.

Рассуждая обо всем этом, мы с Васильем очень смеялись над товарищами и говорили друг другу: „Вот скоты! Когда мы им хотели душу отдать, они издевались над нами, как над собаками, а теперь... вон какая штука пошла!..“

Долго мы со своими неопытными умами вертелись около этой штуки – и наконец решились поступать всегда таким образом: пробирать всех и вся, а то самого убьют...

Уж и доставалось же от нас нашим приятелям! Мы соорудили себе из двух наших маленьких физических сил одну, о которую разбивались все остальные, а нравственные силы к нам обоим сами пришли... Понявши этот факт, мы смеялись и колушматили, колушматили и смеялись...

– Вот теперь в нас с тобой сидят подлинно злохудожные души! – часто с громким хохотом говаривал Василий, раздавая направо и налево забористые тумачки».

– Вот так подкладка! – говорил Иван Николаевич в своей опустелой квартире. – Нарочно такой не придумаешь! Ребячью теплоту подбили чертовой кожей... Дельно! Полюбуемся!

«Впрочем, когда мы оставались с Западovým одни, мы долго советовались, как бы нам без драки помириться со всеми, и не находили никакого другого средства. Я до слез унывал от этого, а Васютка надвинет, бывало, брови, по лицу у него забегают в это время угрюмые и вместе печальные тени, – и скажет:

– Э! не плачь! Черт с ними! Давай-ка читать...»

– Этот хоть, по крайней мере, последователен, – бормотал Иван Николаевич. – У него душить так душить... Ну давайте, давайте читать... Ах, боже мой! Ведь все это я знаю. Всем этим сладким чадом и моя голова горела...

Вот вам «Клятва при гробе господнем»[22], вот «Последний Новик», – ну, «Бусурман»[23], – ну, «Рославлев»[24] наконец, – и какие там есть еще черти и дьяволы?

– Отечественная литература! Классические собрания! – протяжно и злобно толковал Иван Николаевич, тусклыми, бесцельно блуждавшими глазами осматривая свою мрачную квартиру, видимо, не понимавшую, на что он сердится. – Вот тебе и классики! Гибель! О, вы —

Разрозненные томы

Из библиотеки чертей![25]

– Какая-то литература? Нравов нет! Есть черт знает что, которое всегда прощать должно, за которое всегда страдать должно, а тем для литературы нет... Следовательно? Ну и ее нет... Смеяться даже лень над этим безысходным никуданегодьяйством...

– Ну что там еще? Что у тебя еще есть? – спрашивал у безответно молчавшей стены Иван Николаевич. – Пушкин-то? Приятно слышать! Ха, ха, ха! Руслана и Людмилы я никогда не видал и видеть нужды не имею, – знаю, что кавказских пленников, хоть бы они были расприятелями со всеми княжнами в мире, черкесы отправляли без дальних разговоров коз стеречь, – знаю, что леса наши не в состоянии приютить у себя Дубровского с шайкой разбойников и с пушками, а если и приютили бы, то, к славе нашего доброго отечества, в нем таких горячих субъектов быть не могло. Ибо, как говорил один немец, содержатель зверинца, рекомендуя вниманию публики белого медведя, «по холодному его климату, мы часто обливаем его холодной водой...». Да что, в самом деле? Досадно! Гений унизились до каких-то засад, до пальбы, как есть провинциальная театральная афишка или пошлые романы Дюма. Вот и Сильвио[26] тоже: они некогда состояли в военной службе храбрыми гусарами, честными ремонтерами, – были некоторые из Сильвио шулерами, бретерами, при всякой удобной оказии прятавшими под любой куст свою храбрость, – были они нахалами, развратниками, нелепыми мотами и всякого рода подлецами и дураками: но Сильвио великодушных быть не могло.

– Как об историке, друг Ваня, я о Пушкине и говорить тебе не буду. Он нас обманул своей историей пугачевского бунта[27].

В этом месте своей литературной критики Иван Николаевич оперся о край стола и с необыкновенной лаской начал говорить стулу, на котором, однако, никто не сидел:

– А впрочем, Ваня, я люблю Пушкина как личность. Я злюсь тогда, когда читаю, что он произвел, – и вот видишь почему (тут Иван Николаевич понизил до шепота свой голос): потому что оно могло быть лучше сделано. Понимаешь, лучше!.. Но ведь, друг мой! Нужно отсекал людей от времен, в которые они действовали... От обстоятельств... Ваня! В этом в одном только, по моему убеждению, заключается разумный интерес жизни: смотреть на дело умершего человека, знать, чего оно стоит, и потом руководствоваться выведенными из всего этого соображениями для пользы своей и ближних... Конечно, ты еще молод... Ну да еще мы поговорим... Успеет... – улыбался Иван Николаевич. – Я, ей-богу, глубоко рад, что ты ко мне приехал; а то, понимаешь? – еще дружелюбнее смеялся Померанцев, – становимся мы стары – и помнишь, как у нас растолковывали по селам про мужиков, какие долго не умирали? Говорили про них, что они колдуны и что им некому передать своего колдовства. Вот я тебе теперь и передам мое колдовство...

Разговаривая таким образом, он жал кому-то руки и спрашивал:

– Ты чаю хочешь или кофе? А то, может, по семинарскому обычаю, водочки прежде, а? Ха, ха, ха!

Часовой маятник отвечал ему металлическим: та, та, та!

– Дело, друг! Мы всего сейчас изготовим, – удовлетворился Иван Николаевич и этим ответом – и потом, суетясь по комнатам, снова обратился к истории отечественной литературы:

– А что, голубчик Ваня, Лермонтов там у нас в ходу был, так у него, ха, ха, ха! есть один, как говорили наши губернские барышни, стишок действительно хорошенький. Это —

И скучно, и грустно, и некого в карты надуть[28]

В минуты карманной невзгоды.

Жена? Да что пользы жену обмануть?

Ведь ей же отдашь на расходы.

– Это, друг, очень хороший стишок! Остальное все вздор, потому что, дорогой мой, мы и без него постоянно спрашиваем:

На проклятые вопросы

Дай ответы нам прямые[29]:

Отчего под ношей крестной

Весь в крови влачится правый?

Отчего везде бесчестный

Встречен почестью и славой?

– Впрочем, Ваня, я его сердечно жалею. Возьмем то одно, сколько ран нанесли ему все эти княжны Мэри и т. д. Сердце-то у него, Ваня, стало словно бы камень какой: ни само не билось, ни того, что другие бьются, не понимало, или, быть может, и понимало, да по-своему, по-особенному... Это, брат, была самая, как говорили у нас в семинариях, злохудожная душа... Ну-ка, выпьем сначала, закусим, да вот кофейку...

В молчаливом залике стоял накрытый круглый стол. На нем были графин с водкой, бутылка с вином, кофейник шипел – и около всего этого ходил Иван Николаевич какую-то торопливой походкой, смеялся, потирал руки и, видимо, чему-то глубоко радовался.

– А то у вас, Ваня, – говорил он, – Гоголь был, так ведь это тоже опять беда! Нашему брату, который сам до всего должен додумываться, его и читать-то, по-настоящему, не следует. Околеть можно от этого горького смеха, от этого смертного уныния. «Смехом моим горьким посмеюся!» – написали на его могиле. Славный девиз! Вот герб! Как это, Ваня? «Русь! Русь! Вижу тебя из моего прекрасного далека!» Забыл подлинные слова, коверкать не хочу. Подскажи, Ваня! Он дал нам нравы! Или не то что дал, а научил нас подмечать в людях

настоящие нравы. Это основатель русской литературы. Без него мы не поняли бы ни Диккенса, ни Теккерея и все пробавлялись бы дурацкими эпопеями о корнетах Z и о княжнах X.

– А при нем, Ваня, и мы в нашей пошлой жизни испытали кое-что очень хорошее. Вот Пашенька Домби, ребенок, неизвестно почему потухающий при тайном говоре брайтонских волн; вот Флоранс, портреты которой ты видел в изумрудных незабудках, растущих на наших лугах; Вальтер, добрая, всем помогающая сила, которой не растет на наших лугах... Вот капитан Куттль[30] на деревянной ноге, лицо у него все поросло каким-то как бы печально смеющимся, седоватым мхом; но он все-таки бодро кричит: «Держись крепче, капитан Куттль! Старик Куттль! Распускай все паруса – и полным ходом! Стыдно тебе будет, старичище Куттль, если ты упадешь лицом в грязь».

– А вот и мисс Ребекка Шарп[31], великая девушка, сначала плюнувшая на лексикон если не великого, зато, по крайней мере, толстого доктора Джонсона[32], а потом оплевавшая все... Скажу тебе по секрету, Ваня: Ребекка Шарп была моей первой и последней любовью. Я очень жалею, что я не встретился с нею в действительной жизни. Я бы вырвал из нее то, что называется женским тщеславием (ты, друг, конечно, молод и еще не знаешь, что под этим словом разумеются тысячи разнообразных и губительных гнусностей), а она бы из меня вырвала... Ваня! Что бы она из меня вырвала? Ха, ха, ха! Ничего бы она из меня не вырвала...

– Хорошо! Хорошо! – перебивал Иван Николаевич чье-то весьма будто бы торопливое и жаркое возражение. – Поговорим еще... Успеем... Я тебе и об этом скажу. О чем? Да, да, да! Об женщинах? Ну, брат, я никого не хочу оскорблять. С этой вещью ты должен как-нибудь сам познакомиться. Для начала прочти Гейне, – вот он на полке лежит.

Иван Николаевич вдруг запел на мотив «Чтоб мы были без вина?»:

Наша милая жена

На восходе солнца шла...

– А вот тебе, голубчик Ваня, Уэллеры[33] – отец с сыном. Они, в качестве извозчиков, пахнут лошадиным навозом, да ведь лошадиный-то навоз чахотку вылечивает. Что за прелесть эти люди! Я с совершенным счастьем вижу, что там рабочая жизнь имеет в своей среде высокие идеалы сознаваемого труда и сознаваемых обязанностей.

– А мистер Пикквик, Ваня! Желал бы нашему обществу побольше таких людей. Конечно, они стерли бы с нас ту печать безразличия и апатии, которая одинаково лежит на наших делах – дурных и хороших... Ну да успеем еще... Поговорим...

Снова Иван Николаевич счел за нужное успокоить кого-то дружелюбными улыбками и рукопожатиями.

– Вот это, Ваня, нравы! И конечно, дорогой мой, и за это нужно быть благодарным, что не весь свой курс специально провалялся ты в грязи и бедности, а познакомился и с другой стороной человеческой жизни; но ведь, милый, ведь все это из

ненашенской земли, и потому нужно было

вам главным образом не это, а вот что...

– Вот, брат, что

вам нужно было, – указывает Иван Николаевич на шкафы с книгами. – Это, брат, не чета вашим запискам. Как там физику-то начинал читать один остроумный и вечно пьяный человек? Не подумайте, говаривал он, разбойники, что физика научит вас заезжать друг к другу в физику более того, чем вы сами понимаете это искусство. Каков каламбур! Нет, Ваня, тут без каламбуров, – прямо к делу. Есть у меня, Ваня, штук пять знакомых молодцов, – я тебя сведу с ними. Посоветуйся-ка с молодежью-то, определи себя, да с богом и присаживайся! Я с тобой, кстати, на старости лет... Эх, жаль, говоришь ты, что Васютка-то Западов умер! Хорошо бы и его сюда затащить. А ведь у меня тоже был приятель – и звали его, как и твоего, Западovým. Так тот упрям был, как не знаю что: взял однажды грудью и животом лег в весенний, растаявший лед – и стал в этой луже валяться. Спрашиваем: что ты делаешь? А он говорит: не хочу в академию ехать, лучше умереть. В два дня действительно свернулся... Очень упрям был покойник; только я уже стал забывать его. Вот ты напомнил...

– Ну, брат Ваня! Хорошо ты сделал, что приехал ко мне. Теперь я тебя не выпущу. Я был, Ваня, очень несчастлив: у меня, Ваня, кроме, ха, ха, ха! мисс Ребекки Шарп, другой любви не было, дружбы тоже не было, а было гнусное, нищенское бесхлебье, а оттого всякого рода унижения и скверности, – была тоска по годам, с которой сладить не было никаких возможностей, – раздумье какое-то проклятое, которое как бы каким облаком закрывало от меня настоящее жизненное течение; а теперь вот который уже год я заперся от всех, чтобы не получать от жизни новых пинков... Устал!.. обробел!..

«Динь! Динь! Динь!» – порывисто зазвенел в это время колокольчик у черной клеенчатой двери.

– Звони! Звони! – насмешливо отвечал Иван Николаевич этому звону. – Теперь, брат, я не особенно вас боюсь. Я теперь отопрусь и переведаюсь с вами! Весь мой опыт тебе, Ваня! Не дам я тебе, сударику, обманутым быть ни людьми, ни самим дьяволом...

«Динь! Динь! Динь!» – еще тревожнее залился колокольчик, а Иван Николаевич по-прежнему тихонько посмеивался и, поглаживая бакенбарды, говорил:

– Уж это как дважды два верно, спасу. Хоть бы вы треснули там, звонивши. Ежели он вдастся в умственные зигзаги, какие нас в старину заедали, мы его развлечем.

Всей своей желчью оплую я эти зигзаги. С женщиной ежели сойдется, – мы приставим ей голову, – редкие они у нас, бедные, с головами-то... Ах, несчастье! Ах, какое губительное несчастье! Пуще заразы пожирает оно наш молодой народ!.. Но ничего, Ваня! Все бог! Может, как-нибудь и от этого оттолкнемся.

За дверью между тем слышалось:

– Надо налегнуть!..

– Известно, налегнуть, – не отпирает кое место. Кто его знает, што он там?

– Што ж? Налягем, коли ежели...

Вследствие этого решения дверь заскрипела, и потом обе половинки ее грянулись на пол передней.

– Мальчик, прячься! Ребенок, хоронись скорее! – кричал Иван Николаевич, пуская в рыжеусого дворника массивным, парящим в небо ангелом.

– Не извольте буяннить, ваше высокоблагородие! – резонно и тихо говорил бравый городской, усаживая Ивана Николаевича в карету. – Не хорошо! Чин ваш этого не позволяет...

– Вали! Вали! – кричал с подъезда дворник. – Он, брат, тут у нас весь двор поел... Что с ним еще разговаривать-то?..

– Ваня! Ваня! Берегись! – продолжал кричать Иван Николаевич, выглядывая в каретную дверцу. – Смотри, чтобы они и тебя не съели, как меня... Берегись, друг!..

Кучер, намереваясь ударить по лошадям, хлопнул его по лицу ремненным кнутом, и Иван Николаевич пугливо скрылся в глубину кареты и зашептал:

– Ишь, подлецы, ишь! За что он меня? За что?

– Потише там, с кнутом-то!.. – крикнул на кучера бравый ундер, и карета тронулась, а Иван Николаевич все шептал что-то, улыбался кому-то, делал самые дружественные и успокоивающие знаки и по временам с совершенно детской уверенностью, не допускающей никаких невозможностей, спрашивал у сидевшего с ним рядом городского:

– Как думаете: придет ко мне Ваня? А? Нужно бы мне ему еще словечек пару сказать... Так, немножко... Не успел я ему давеча шепнуть... Придет ведь?

– Беспременно, ваше высокоблагородие! – успокаивал его городской. – Потому им грех будет, ежели они не придут... Они люди молодые!..

– Да! Да! Они люди молодые, – самым радостным образом засмеялся Иван Николаевич. – Придет, – это верно!.. Ха, ха, ха!..

Спустя несколько недель в «Полицейских ведомостях» говорилось:

«Отыскиваются родственники и наследники умершего в доме умалишенных титулярного советника Ивана Николаевича Померанцева, подверженного с давних пор, как оказалось по справкам, чрезмерному употреблению спиртных напитков. Приглашаются равномерно кредиторы означенного Померанцева к оценке оставшегося после него имущества, состоящего из двух пар ветхих сапог, разбитой алебастровой статуи, изображающей парящего в небо ангела, и большой конторской книги, которая, впрочем, к употреблению едва ли окажется годною, потому что вся она исписана одними только этими словами:

– Мальчик, берегись!..»

1869

Примечания

1

Печатается по изданию: «Горе сёл, дорог и городов». М., 1874, с. 341—393. Впервые опубликовано в журнале «Дело», 1869, No 10. Один из наиболее автобиографических очерков Левитова. Прообразом семинариста Василия Западова явился друг Левитова Я. Е. Соколов. После опубликования очерка в журнале «Библиограф» (1869, No 2, ноябрь) появилась заметка (без подписи), в которой высоко оценивался этот очерк.

2

...в известной песне опирался на свою саблю гусар. – Имеется в виду популярная в то время песня на стихи К. Н. Батюшкова «Разлука» («Гусар, на саблю опираясь...»).

3

...каким-то необыкновенным смиренным дядей Власом – по имени героя стихотворения Н. А. Некрасова «Влас».

4

Дорогой мой

(франц.).

5

Marci Tullii Ciceronis... – Речи римского политического деятеля Марка Туллия Цицерона (106-43 гг. до н. э.) изучались как образец латинского литературного языка и пример ораторского искусства.

6

Речи Марка Туллия Цицерона, глава вторая

(лат.).

7

Ликтор

(лат.).

8

Ликтор. – В древнеримской республике – почетная стража высших чинов, носила с собой пучок прутьев с воткнутым в него топором. В духовных училищах так называли студентов, на обязанности которых лежало наказание розгами провинившихся товарищей.

9

Знаменитейший вождь

(лат.).

10

Деревенский житель; деревенщина

(лат.).

11

Шевронист – то есть имеющий шевроны – нашивки на рукаве мундира.

12

Экзекутор – чиновник, надзиравший за внешним порядком в канцелярии.

13

«Приключения английского милорда Георга». – Имеется в виду очень распространенное в то время лубочное произведение «Повесть о приключении английского милорда Георга и бранденбургской маркграфини Фредерики-Луизы», написанная Матвеем Комаровым и опубликованная в 1782 году.

14

Сохраняй порядок, и порядок сохранит тебя

(лат.).

15

Перфект

(лат.).

16

Супин

(лат.).

17

Друг

(лат.).

18

Греческий завет – Библия на греческом языке.

19

Брата или недруга должен я в тебе видеть?

(лат.)

20

«Опоздился купец...» – из песни на стихи А. С. Кольцова «Хуторок».

21

...прекрасный молодой человек –

сочинение Поль де Кока. – Многочисленные персонажи романов французского писателя Поль де Кока (1794—1871) сводятся к нескольким типам; один из них – добродетельный, но слабый юноша.

22

«Клятва при гробе господнем» – роман Н. А. Полевого (1796—1846).

23

«Последний Новик», «Бусурман» – исторические романы И. И. Лажечникова (1792—1869).

24

«Рославлев» – исторический роман М. Н. Загоскина (1789—1852).

25

«Разрозненные томы из библиотеки чертей!» – стих из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (гл. 4, строфа XXX).

26

Сильвио – герой повести А. С. Пушкина «Выстрел».

27

...О Пушкине... Он нас обманул своей Историей пугачевского бунта. – Эта реплика свидетельствует о недостаточной проницательности тех, кто не понял политической остроты и высокого художественного достоинства исторической пушкинской прозы. Белинский и Герцен высоко ценили «Историю Пугачева».

28

«И скучно и грустно, и некого в карты надуть...» – пародия Н. А. Некрасова на стихотворение Лермонтова.

29

«На проклятые вопросы // Дай ответы нам прямые»... – из стихотворения Г. Гейне «Брось свои иносказанья» («Lasse die heil'gen Parabolten») в переводе М. И. Михайлова.

30

Пашенька Домби... Флоранс... Вальтер... капитан Куттль – персонажи из романа Диккенса «Домби и сын».

31

Ребекка Шарп – героиня романа английского писателя Теккерея «Ярмарка Тщеславия».

32

...лексикон... доктора Джонсона – «Словарь английского языка», составленный английским ученым Сэмюэлом Джонсоном (1709—1784).

33

Уэллеры – персонажи романа Диккенса «Записки Пикквикского клуба».